

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 4711191 8

Кундера

Жуандера

СМЕШНЫЕ
ЛЮБОВИ




АЗБУКА

М
ИЛАН
УНДЕРА
К

СМЕШНЫЕ
ЛЮБОВИ



Санкт-Петербург
Издательство «АЗБУКА»
2001

УДК 82/89
К 91

Směšné Lásky © Milan Kundera, 1968

Перевод с чешского Н. Шульгиной

Кундера М.

К 91 Смешные любви: Рассказы / Пер. с чеш.
Н. Шульгиной. — СПб.: Азбука, 2001. —
224 с.

ISBN 5-267-00498-1

В книгу Милана Кундера «Смешные любви» вошли рассказы, написанные в Чехии в 1959–1968 гг. Они явились отправной точкой кундеровской прозы, в особенности его знаменитых романов «Невыносимая легкость бытия», «Бессмертие» и других.

ISBN 5-267-00498-1

© Н. Шульгина, перевод, 2001

© «Азбука», 2001

Смешные любви

Рассказы

СОДЕРЖАНИЕ

НИКТО НЕ СТАНЕТ СМЕЯТЬСЯ	9
ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО ВЕЧНОГО ЖЕЛАНИЯ	45
ЛОЖНЫЙ АВТОСТОП	67
СИМПОЗИУМ	89
ПУСТЬ СТАРЫЕ ПОКОЙНИКИ УСТУПЯТ МЕСТО МОЛОДЫМ ПОКОЙНИКАМ	129
ДОКТОР ГАВЕЛ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ	151
ЭДУАРД И БОГ	185

*В книге сохранены
особенности пунктуации автора*

НИКТО НЕ СТАНЕТ СМЕЯТЬСЯ

1

— Налей мне еще сливянки, — сказала Клара, и я выполнил ее просьбу. Повод распить бутылочку был вовсе не из ряда вон выходящим, но все-таки был: в этот день я получил сравнительно сносный гонорар за последнюю часть своего эссе, опубликованного с продолжением в нескольких номерах специального журнала по изобразительному искусству.

Уже тот факт, что эссе вышло в свет, казался чудом. Все, что я утверждал в нем, носило характер остро полемический. Моя работа, поначалу отвергнутая журналом «Изобразительная мысль», чьи редакторы седобороды и осмотрительны, впоследствии была напечатана в менее объемном, конкурирующем с «Изобразительной мыслью» издании, сотрудники которого были моложе и опрометчивее.

Гонорар, а вместе с ним и письмо принес мне на факультет почтальон; письмо малозначительное; в состоянии свежобретенной самонадеянности я едва пробежал его глазами. Однако дома, когда время уже близилось к полуночи, а содержимое бутылки — ко дну, я взял письмо со стола и стал читать с явным намерением повеселиться.

«Уважаемый товарищ и — с Вашего разрешения — мой коллега! — вслух прочел я Кларе. — Прошу Вас извинить меня за то, что я, не имеющий

чести знать Вас, осмеливаюсь писать Вам. Обращаюсь к Вам с просьбой: не откажать мне в любезности прочесть прилагаемую статью. Не будучи знаком с Вами лично, я уважаю Вас как человека, чьи взгляды, суждения и выводы столь удивили меня своим совпадением с результатами моего собственного исследования, что я был просто потрясен. Так, например, при всем моем преклонении перед Вашими суждениями в плане сравнительного анализа, которым Вы, вероятно, владеете лучше меня, я категорически утверждаю, что к мысли о том, что чешское искусство всегда было близко народу, я пришел до того, как прочел Вашу работу. Я мог бы это легко доказать, ибо, помимо прочего, располагаю и свидетелями. Но это только так, к слову сказать, ибо Ваш труд...» — тут следовал еще ряд дифирамбов в адрес моей персоны, а затем просьба: не согласился бы я, дескать, написать на его статью рецензию, а точнее, отзыв для «Изобразительной мысли», где данная статья уже более полугода лежит без движения. Моя рецензия, насколько ему известно, может оказаться решающей, а потому я для него, автора этих строк, единственная надежда, единственный огонек в поглотившей его непроглядной тьме.

Мы, конечно, не преминули посмеяться над паном Затурецким, чье высокородное имя нас буквально зачаровывало; однако наши шутки были вполне благодушными, поскольку фимиами, который он курил мне, особенно в сочетании с превосходной сливянкой, смягчал меня. Смягчал настолько, что в те незабвенные минуты я возлюбил весь мир. И в этом огромном мире — прежде всего Клару. Уже хотя бы потому, что она сидела напротив меня, тогда как остальной мир был скрыт за стенами моей мансарды в пражских Вршовицах. И не имея возможности чем-то одарить тот, большой мир, я одаривал Клару. По крайней мере — обещаниями.

Клара была девушкой двадцати лет от роду, из хорошей семьи. Да что там из хорошей — из отличной семьи! Папочка, бывший директор банка, как представитель крупной буржуазии в пятидесятом году был выслан в отдаленную от Праги деревню Челаковице. Доченька по злой воле кадровиков работала швейей в большой мастерской пражской фабрики модной одежды. Сейчас я сидел против нее и лез из кожи вон, чтобы снискать ее благосклонность хотя бы тем, что легковесно расписывал ей преимущества будущей работы, на которую я обещал устроить ее с помощью моих друзей. Невозможно, убеждал я ее, чтобы такая прелестная девушка, как она, убивала свою красоту, сидя за швейной машиной. Я был полон решимости сделать ее манекенщицей.

Клара не возражала мне, и мы провели ночь в счастливом взаимопонимании.

2

Человек проживает настоящее с завязанными глазами. Ему дано лишь думать или догадываться, что он живет. И только позднее, когда ему развязывают глаза, он, оглядываясь на прошлое, осознает, как он жил и в чем был смысл этой жизни.

В тот вечер я думал, что пью за свои успехи, и вовсе не предполагал, что это торжественный вернисаж моих закатов.

А так как я ничего не предполагал, то и проснулся утром в отличном настроении, взял в постель статью, приложенную к письму, и, пока Клара блаженно посапывала рядом, с веселым равнодушием приступил к чтению.

Статья, озаглавленная «Миколаш Алеш, мастер чешского рисунка», не стоила даже того получаса рассеянного внимания, что я ей уделил. Это было

беспорядочное нагромождение банальностей без всякого представления о логической связи, без малейшей честолюбивой попытки разбавить их хоть какой-нибудь собственной мыслью.

Мне стало совершенно ясно, что статья эта — несусветная чушь. Кстати, доктор Калоусек, редактор «Изобразительной мысли» (в сущности, человек малоприветный), в тот же день подтвердил это; позвонив мне на факультет, он сказал: «Ну как, получил трактат этого самого пана Затурецкого?.. Тогда напиши. Уже пятеро рецензентов зарубили ее, а он никак не утомонится, теперь решил, что единственный настоящий спец — это ты. Напиши в двух словах, что это полная дребедень, ты это умеешь, язвительности тебе не занимать, тогда уж он оставит нас в покое».

Тут что-то во мне воспротивилось: почему, собственно, я должен быть палачом пана Затурецкого? Я что, получаю за это редакторскую зарплату? К тому же я прекрасно помнил, что именно в «Изобразительной мысли» из осторожности завернули мою статью; зато имя пана Затурецкого крепко увязывалось для меня с Кларой, сливянкой и восхитительным вечером. И наконец — не стану отрицать, это же вполне по-человечески, — и одного пальца мне было бы достаточно, чтобы сосчитать тех, кто полагает меня «настоящим спецом»; так чего ради терять мне и этого единственного?

Я закончил разговор с Калоусеком какой-то невнятной остротой, которую он мог счесть обещанием, а я — всего лишь уверткой, и повесил трубку, будучи твердо уверен, что рецензию на пана Затурецкого не напишу никогда.

И вместо рецензии я, вынув из ящика стола почтовую бумагу, написал пану Затурецкому письмо, в котором, обойдя какую бы то ни было оценку его работы, извинился и сообщил, что мои взгляды на

живопись девятнадцатого века считаются порочными и дерзкими, и потому мое мнение — особенно в редакции «Изобразительной мысли» — могло бы скорее навредить делу, чем поспособствовать; при этом я обволок пана Затурецкого таким дружелюбным многословием, что трудно было бы не усмотреть в нем моего расположения.

Стоило мне опустить письмо в почтовый ящик, как я тотчас забыл о пане Затурецком. Зато пан Затурецкий не забыл обо мне.

3

В один прекрасный день, только я закончил лекцию — в институте я веду курс истории живописи, — в дверь аудитории постучала наша секретарша, пани Мария, приветливая пожилая дама, что нередко варит мне кофе и избавляет от нежеланных женских телефонных звонков. Заглянув в дверь, она объявила, что меня дожидается неизвестный господин.

Мужчины не вызывают во мне страха, и я, попрощавшись со студентами, бодро-весело вышел в коридор. Низкорослый человечек в поношенном черном костюме и белой рубашке поклонился мне и весьма учтиво сообщил, что он — Затурецкий.

Я пригласил его в свободную комнату и, предложив кресло, учтиво завел с ним непринужденный разговор обо всем на свете, о том, какое нынче в Праге мерзкое лето и какими выставками она нас балует. Пан Затурецкий вежливо поддакивал моему треслу, однако каждое мое слово стремилось тотчас увязать со своей статьей о Миколаше Алеше, пролегшей между нами в своей незримой субстанции, точно неустранимый магнит.

— Ничто не доставило бы мне такого удовольствия, как рецензия на вашу работу, но я уже объ-

яснил вам в письме, что меня нигде не считают специалистом по чешскому искусству девятнадцатого века и, кроме того, я некоторым образом не в ладах с редакцией «Изобразительной мысли»; там числят меня законченным модернистом, и мой положительный отзыв мог бы только навредить вам.

— О, вы слишком скромны, — сказал пан Затурецкий, — вы такой знаток, как вы можете столь мрачно оценивать свое положение! В редакции мне сказали, что все зависит от вашего отзыва. Если вы одобрите мою работу, ее напечатают. Вы моя единственная надежда. Эта работа — результат трехлетнего труда. Ее судьба в ваших руках.

Как легкомысленно и неумело возводишь порой стены своих отговорок! Я не знал, что и ответить пану Затурецкому. Невольно взглянув ему в лицо, я узрел не только маленькие старинные невинные очки, уставленные на меня, но и мощную, глубокую поперечную морщину на лбу. В короткий миг ясно-видения по моей спине пробежали мурашки: морщина, упрямая в своей сосредоточенности, выдавала не только мыслительные потуги, терзавшие ее обладателя, когда он размышлял над рисунками Миколаша Алеша, но и недюжинные волевые способности. Утратив присутствие духа, я не нашел ни одной толковой отговорки. Я точно знал, что отзыва не напишу, но знал и то, что у меня нет сил сказать об этом прямо в умоляющие глаза человечка.

Расплывшись в улыбке, я пообещал ему что-то неопределенное. Пан Затурецкий поблагодарил меня и сказал, что вскоре опять зайдет — справиться. Я простился с ним, расточая улыбки.

Спустя несколько дней он и вправду пришел. Я ловко увильнул от него, но на следующий день, как мне доложили, он вновь искал меня на факультете. Я понял, что дело швах, и попросил пани Марию принять необходимые меры предосторожности.

— Марженка, будьте так добры, если еще когда-нибудь будет меня спрашивать этот господин, скажите ему, что я уехал в научную командировку в Германию и вернусь лишь через месяц. И учтите, пожалуйста: как известно, мои лекции бывают по вторникам и средам. Но я тайком перенесу их на четверг и пятницу. Знать об этом будут только студенты, и никто больше; расписание же оставьте прежним. Я уйду в подполье.

4

Пан Затурецкий и правда вскоре опять появился на факультет, чтобы разыскать меня, и пришел в отчаяние, узнав от секретарши, что я уехал в Германию. «Невозможно! Пан ассистент должен написать на меня рецензию! Как он мог взять и уехать?» — «Не знаю, — сказала пани Мария, — но через месяц он должен вернуться». — «Еще целый месяц... — простонал пан Затурецкий. — А нет ли у вас его немецкого адреса?» — «Нет», — ответила пани Мария.

Итак, впереди у меня был месяц покоя.

Однако месяц пробежал быстрее, чем я полагал, и в канцелярии уже снова возник пан Затурецкий. «Нет, он еще не вернулся», — сказала ему пани Мария, однако, встретив меня чуть позже, настоятельно попросила: «Этот ваш недоросток опять притащился, что теперь прикажете ему говорить?» — «Скажите ему, Марженка, что в Германии я подхватил желтуху и лежу в Иене в больнице!» — «В больнице! — вскричал пан Затурецкий в ответ на очередную отговорку Марженки. — Невозможно! Пан ассистент должен же наконец написать на меня рецензию!» — «Пан Затурецкий, — укоризненно сказала секретарша, — пан ассистент серьезно

болен и лежит где-то на чужбине, а вы думаете только о своей рецензии». Пан Затурецкий, ссутулившись, удалился, но через две недели пожаловал в канцелярию снова: «Я послал пану ассистенту в Йену на адрес больницы заказное письмо, но оно пришло обратно». — «Ваш недоросток сведет меня с ума, — сказала мне на следующий день пани Мария. — Не сердитесь на меня. Что мне было ему сказать? Сказала, что вы уже вернулись. Управляйтесь с ним сами».

На пани Марию я и не думал сердиться. Она сделала все, что могла. Я знал, что я неуловим. Я жил исключительно в подполье. По четвергам и пятницам тайком читал лекции, по вторникам и средам тайком ежился в подъезде противоположного дома и млеял от радости, видя, как перед институтом торчит пан Затурецкий и ждет, когда же наконец я выйду на улицу. Я решил было надеть котелок и приклеить бороду и усы, представляя себя то Шерлоком Холмсом, то замаскированным Джеком Потрошителем, а то бредущим по городу Невидимкой; я казался себе просто мальчишкой.

В конце концов пану Затурецкому надоело подкарауливать меня, и он пошел в атаку на пани Марию: «Когда, собственно, товарищ ассистент читает лекцию?» — «Взгляните, пожалуйста, на расписание», — сказала пани Мария, кивнув на стену, где на большой, разделенной на четыре части доске с завидной наглядностью были расписаны все занятия.

— Это мне известно, — не поддавшись на провокацию, заявил пан Затурецкий. — Однако товарищ ассистент ни по вторникам, ни по средам не читает здесь лекций. Он что, числится больным?

— Нет, — в растерянности сказала пани Мария.

Вот тут-то недоросток и налетел на нее: попрекнул неразберихой в расписании, поиронизировал насчет того, что ей и невдомек, где и когда тот или

иной преподаватель читает лекцию. Объявил, что пожалуется на нее. Кричал. Сообщил, что пожалуется и на товарища ассистента, который не читает лекций, хотя читать их обязан. Спросил, на месте ли ректор.

Ректор, увы, был на месте.

Пан Затурецкий, постучав к нему в дверь, вошел. Минут через десять вернулся в канцелярию и со всей строгостью спросил у пани Марии мой домашний адрес.

— Литомишль, Скальникова, двадцать.

— Как это, Литомишль?

— В Праге у пана ассистента лишь временное жилье, и он не разрешает давать адрес...

— Я требую дать мне адрес пражской квартиры товарища ассистента, — кричал недоросток дрожащим голосом.

Пани Мария вконец растерялась. Она дала ему адрес моей мансарды, моего жалкого убежища, моей сладкой норы, в которой мне предстояло быть пойманным с поличным.

5

И то правда: постоянное мое жилье — в Литомишле; там мама, друзья и воспоминания об отце; когда удастся, я покидаю Прагу и работаю дома, в маленькой маминой квартирке. Так уж случилось, что мамину квартиру я формально считаю своим постоянным местом жительства и в Праге не удосужился обзавестись даже приличной холостяцкой квартирой, что было бы естественно, а жил в Вршовицах, снимая маленькую, абсолютно изолированную мансарду, наличие которой я, по возможности, утаивал и нигде не оглашал уже хотя бы во избежание случайных встреч непрошенных гостей с моими мимолетными сожителями или визитерами.

Не стану отрицать, что именно по этой причине в доме обо мне ходили далеко не лучшие толки. Кроме того, на время моих литомишльских отлучек я не раз предоставлял комнатушку в распоряжение своих приятелей, которые резвились там всюю и ночи напролет никому в доме не давали спать. Все это до того возмущало некоторых жильцов, что они затеяли против меня тихую войну, выражавшуюся подчас в характеристиках уличного комитета и даже в одной жалобе, направленной в жилищную управу.

В тот год, о котором идет речь, Клара решила, что ездить на работу откуда-то из Челаковиц слишком утомительно, и стала ночевать у меня. Сперва робко и в виде исключения, потом принесла ко мне одно платье, потом еще несколько, и вскоре два моих костюма убого жалась в углу шкафа, а моя комната превратилась в дамский салон.

Мне нравилась Клара; она была красива; люди, к моему удовольствию, оглядывались на нас, когда мы вместе шли по улице; она была по меньшей мере лет на тринадцать моложе, что возвышало меня в глазах студентов; короче, у меня была тысяча причин не расставаться с ней. Но обнародовать, что она живет у меня, я не хотел. Боялся молвы и сплетен в доме; боялся, что тем самым пострадает хозяин квартиры, милый старый человек, который умел быть корректным и не лезть в душу; боялся, как бы в одно прекрасное утро ему не пришлось заявиться ко мне и с тяжелым сердцем попросить — ради его доброго имени — выставить барышню за дверь.

Вот почему Кларе было строго-настрого приказано никому не открывать.

В тот день она была дома одна. Ярко светило солнце, и в мансарде было довольно душно. Раздетая догола, она лежала на моей тахте и отсутствующим взглядом блуждала по потолку.

Вдруг раздался стук в дверь.

Клару это ничуть не встревожило. В мансарде не было звонка, и всем посетителям приходилось стучать. Не обращая внимания на шум, она продолжала неотрывно смотреть в потолок. Но стук не прекращался, напротив, усиливался с размеренной и непостижимой настойчивостью. Клару охватило беспокойство; она представила себе, что за дверью стоит человек, который сперва медленно и многозначительно отвернет перед ней лацкан пиджака, а потом грубо накинется на нее: почему-де она не открывает, что утаивает и прописана ли она в этом доме. Она вдруг почувствовала себя виноватой; оторвав взгляд от потолка, торопливо стала искать брошенное где-то платье. Но стук был таким настойчивым, что она в попытках не нашла ничего, кроме моего плаща-болоньи. Надев его, открыла дверь.

Но за дверью вместо злобного, пронириливого лица увидела лишь маленького человечка, поклонившегося ей. «Пан ассистент дома?» — «Нет, его нет дома...» — «Жаль, — сказал человечек и извинился за вторжение. — Дело в том, что пан ассистент должен написать на меня рецензию. Он обещал, а дело больше не терпит. Если позволите, я хотя бы оставляю ему записку».

Клара дала человечку бумагу и ручку, и вечером я прочел, что судьба статьи о Миколаше Алеше исключительно в моих руках, что пан Затурецкий с глубоким почтением ожидает моей рецензии и что постарается снова найти меня на факультете.

6

На другой день пани Мария поведала мне о том, как пан Затурецкий угрожал ей, как, накричав на нее, пошел жаловаться; голос у нее дрожал, она чуть не плакала; во мне закипела злость. Я прекрасно по-

нимал, что секретарша, до сих пор смеявшаяся над моей игрой в прятки (хотя голову даю на отсечение, что смеялась она скорее из симпатии ко мне, чем если бы это действительно ее забавляло), чувствует себя теперь оскорбленной и причину своих неприятностей, естественно, видит во мне. А когда к этому прибавились еще и раскрытая тайна моей мансарды, нескончаемый стук в дверь и тревога Клары, моя злость переросла в сущую ярость.

Но именно в ту минуту, когда я, разъяренный, метался по канцелярии пани Марии, кусая губы, орал и помышлял о мщении, распахнулась дверь и на пороге возник пан Затурецкий.

Когда он увидел меня, лицо его осветилось счастьем. Он поклонился, поздоровался.

Да, он явился преждевременно, явился чуть раньше, чем я успел продумать свою месть.

Он спросил меня, получил ли я вчера его записку.

Я молчал.

Он повторил вопрос.

— Получил, — сказал я.

— И вы, надеюсь, напишете эту рецензию?

Передо мной стоял хилый, упрямый, просящий человек; я видел поперечную морщину, прочертившую на его лбу линию одной-единственной страсти; вглядываясь в эту незамысловатую прямую, я понял, что эта линия определяется двумя точками: моей рецензией и его статьей; что в его жизни, кроме этой маниакальной прямой, нет иного прегрешения, все остальное — сплошная аскеза святого. И тут меня осенила спасительная злонамеренная мысль.

— Думается, вам должно быть ясно, что после вчерашнего происшествия мне не о чем с вами разговаривать, — сказал я.

— Не понимаю вас.

— Не ломайте комедию. Она рассказала мне все. Вы напрасно отпираетесь.

— Не понимаю вас, — проговорил недоросток снова, но на этот раз уже решительнее.

Я перешел на добродушный, можно сказать, дружеский тон: — Послушайте, пан Затурецкий, я не стану вас ни в чем упрекать. Я ведь тоже любитель женщин и вполне понимаю вас. На вашем месте и я бы стал домогаться такой красивой девушки, оказавшись я с ней наедине в квартире, да еще при том, что под болоньей она была совершенно голой.

— Это оскорбление, — побледнев, проговорил недоросток.

— Нет, это правда, пан Затурецкий.

— Это вам сказала та дама?

— У нее нет от меня секретов.

— Товарищ ассистент, это оскорбление. Я женатый человек! У меня жена! У меня дети! — Человек сделал шаг вперед, под его натиском мне даже пришлось отступить.

— Тем хуже, пан Затурецкий.

— Что значит это ваше «тем хуже»?

— А то, что если вы человек женатый, ваше женолюбие — отягчающее обстоятельство.

— Возьмите свои слова обратно! — угрожающе произнес пан Затурецкий.

— Что ж, ладно, — допустил я. — Брак не всегда отягчающее обстоятельство для женолюба. Иной раз, напротив, он может быть и оправданием. Но не в этом суть. Я же вам уже сказал, что вовсе не сержусь на вас и даже вполне вас понимаю. Не понимаю вас лишь в одном: как можно от человека, чьей жены вы домогаетесь, требовать еще и рецензию.

— Товарищ ассистент! Эту рецензию просит у вас доктор Калоусек, редактор журнала Академии наук «Изобразительная мысль». И эту рецензию вы должны написать!

— Рецензия или жена. И то и другое вы не посмеете требовать.

— Что вы себе позволяете, товарищ! — крикнул мне охваченный гневом пан Затурецкий.

Невероятное дело: у меня вдруг возникло ощущение, что пан Затурецкий и вправду хотел соблазнить мою Клару. Я вскипел и сказал: — И вы осмеливаетесь так разговаривать со мной? Вы, кто обязан был бы здесь, в присутствии пани секретарши, передо мной извиниться?

Я повернулся к пану Затурецкому спиной, и он, вконец выведенный из себя, нетвердым шагом вышел из канцелярии.

— Вот так, — сказал я, переведя дух, точно после тяжелого победного боя. — Уж теперь он не станет требовать от меня рецензию, — уверил я пани Марию.

Она улыбнулась, а чуть погодя спросила: — А почему, собственно, вы так не хотите написать для него эту рецензию?

— А потому, Марженка, что его работа сплошная белиберда.

— Тогда почему бы вам в этой рецензии так и не написать, что это сплошная белиберда?

— А зачем мне это писать? Зачем наживать себе врагов?

Пани Мария посмотрела на меня со снисходительной улыбкой; в эту минуту открылась дверь и вошел пан Затурецкий со вскинутой рукой:

— Не я! Вы должны будете передо мной извиниться!

Выкрикнув это дрожащим голосом, он снова исчез.

7

Не помню точно, в тот день или двумя-тремя днями позже, мы нашли в нашем почтовом ящике конверт без адреса. Письмо, написанное тяжелым, корявым почерком, гласило: «Уважаемая! Приходите

ко мне в воскресенье по поводу оскорбления, нанесенного моему мужу. Весь день буду дома. Если вы не явитесь, мне придется принять необходимые меры. Анна Затурецкая, Прага 3, Далимилова, 14».

Клара пришла в ужас, стала что-то говорить о моей вине. Махнув рукой, я заявил, что смысл жизни в том, чтобы увеселяться ею, и если жизнь для этого слишком ленива, нам ничего не остается, как немного подтолкнуть ее. Человеку приходится неустанно оседлывать свои приключения, этих быstroногих кобылок, без которых он ползал бы в пыли, точно усталый пехотинец. Когда Клара заявила мне, что лично она никаких приключений оседлывать не собирается, я уверил ее, что ни с пани Затурецкой, да и ни с паном Затурецким она больше не встретится, а приключение, в седло которого я вскочил, осилю играючи сам.

Утром, когда мы выходили из дому, нас остановил дворник. Дворник не враг мне. Когда-то я ловко подмазал его полсотней и с тех пор пребывал в приятном убеждении, что он приучился закрывать на все глаза и не подливать масла в огонь, который разжигают против меня мои недруги.

— Вчерась тут вас спрашивали двое, — доложил он.

— Какие двое?

— Такой махонький да с теткой.

— А как выглядела эта тетка?

— На две головы выше его. Страсть до чего прыткая. Строгая баба. Про все выспрашивала. — Дворник обратился к Кларе. — Особливо про вас. Кто такая и как, мол, зовут.

— Господи, и что же вы ей сказали?

— Что мне говорить! Нешто я знаю, кто к пану ассистенту ходит? Сказал, что к нему каждый вечер разные ходят.

— Молодец, — сказал я, вытягивая из кармана десятку. — Только так держать!

— Не волнуйся, — сказал я Кларе чуть погодя. — В воскресенье никуда не пойдешь. И никто тебя искать не станет.

И настало воскресенье, после него — понедельник, вторник, среда; ничего, полная тишина. «Вот видишь», — сказал я Кларе.

Потом наступил четверг. На очередной подпольной лекции я рассказывал студентам, как молодые фовисты горячо и в бескорыстном единодушии освобождали цвет от прежней импрессионистской описательности, когда в дверь вдруг просунулась пани Мария и шепотом доложила мне: «Пришла жена этого Затурецкого». — «Но меня же нет здесь, — говорю я, — покажите ей расписание!» — Но пани Мария покачала головой: «Я так и сказала ей, но она заглянула к вам в кабинет и на вешалке увидела ваш плащ-болонью. Теперь сидит в коридоре и ждет».

Тупиковое положение для меня — источник самых ярких вспышек вдохновения. Я обратился к своему любимому студенту:

— Будьте любезны, окажите мне небольшую услугу. Пойдите в мой кабинет, наденьте мой плащ и выйдите в нем из института. Одна дама попытается вам доказать, что вы — это я. Но ваша задача — любой ценой разубедить ее в этом.

Студент ушел и, вернувшись примерно через четверть часа, сообщил мне, что задача выполнена, воздух чист, а дамы и след простыл.

На этот раз победа осталась за мной.

Но затем наступила пятница, и Клара вернулась после обеда с работы в жутком волнении.

Оказалось, что в этот день заведующий, человек весьма вежливый, обслуживая в уютном салоне мод своих заказчиц, вдруг приоткрыл заднюю дверь, ведущую в мастерскую, где за швейными машинами вместе с моей Кларой трудились еще пятнадцать

портних, и крикнул: — Кто-нибудь проживает на Замецкой, пять?

Клара прекрасно поняла, о ком идет речь: Замецкая, 5, — мой адрес. Однако хорошо усвоенные уроки осторожности удержали ее от признания: да, правда, она живет у меня незаконно, но кому до этого дело? «О том ей и толкую», — сказал вежливый заведующий, когда ни одна из портних не откликнулась, и вышел. Позже Клара узнала, что какой-то строгий женский голос по телефону потребовал от него просмотреть адреса всех мастериц и минут пятнадцать уверял, что на фабрике должна работать женщина, проживающая на Замецкой, пять.

Тень пани Затурецкой легла на нашу идиллическую мансарду.

— Но как она могла разнюхать, где ты работаешь? Ведь здесь в доме никто о тебе ничего не знает! — восклицал я.

Да, в самом деле я считал, что никто ничего не знает про нас. Я был тем чудаком, кто думает, будто живет неприметно за высокой стеной, но при этом совершенно упускает из виду одну маленькую деталь: эта стена из прозрачного стекла.

Я подкупал дворника, лишь бы он не болтал, что у меня живет Клара, мучил ее, требуя вести себя неприметно и не высовываться, тогда как о ней знал весь дом. Достаточно было ей как-то раз завязать с жиличкой с третьего этажа неосмотрительный разговор, и уже стало известно, где она работает.

Даже не осознавая того, мы давно жили у всех на виду. Потаенным для наших преследователей оставалось лишь Кларино имя. Эта тайна была единственным и последним прикрытием, пока еще защищавшим нас от пани Затурецкой, вступившей в бой с такой последовательностью и методичностью, что меня охватил ужас.

Я понял, что дело принимает серьезный оборот, что конь моего приключения оседлан дьявольски круто.

Это случилось в пятницу. А в субботу Клара пришла с работы и вовсе дрожала от страха. Произошло вот что:

Пани Затурецкая отправилась со своим мужем на предприятие, куда звонила днем раньше, и потребовала от товарища заведующего разрешить ей с мужем пройти в мастерскую и осмотреть лица всех присутствующих портних. Хотя просьба и удивила заведующего, но у пани Затурецкой был такой вид, что отказать ей представилось ему невозможным. Она говорила что-то туманное об оскорблении, о загубленной жизни и о суде. Пан Затурецкий стоял рядом и хмуρο молчал.

Итак, их ввели в мастерскую. Модистки равнодушно подняли головы, а Клара, узнав маленького человечка, побледнела и с принужденной непринужденностью продолжала работать.

«Милости прошу», — насмешливо кивнул вежливый заведующий супружеской чете. Пани Затурецкая, поняв, что должна взять дело в свои руки, подтолкнула мужа: «Так смотри же!» Пан Затурецкий, подняв угрюмый взгляд, обвел им мастерскую. «Какая же из них?» — шепотом спросила пани Затурецкая.

Пан Затурецкий, по всей вероятности, даже в очечках видел не настолько остро, чтобы осмотреть большое помещение, которое к тому же плохо поддавалось обозрению: горы набросанного хлама, платья, свисающие с длинных горизонтальных перекладин, неутомонные мастерицы, сидевшие не лицом к двери, а бог весть в каких позах: они то вертелись на стульях, то, на минуту присев, снова вставали и невольно отворачивали лица. Ему пришлось обойти всех, чтобы не пропустить ни одной.

Женщины, заметив, что их разглядывает какой-то тип, причем весьма неказистый и непривлекательный,

ощутили в глубине своих чутких душ что-то вроде унижения: начался тихий ропот, посыпались насмешки. А одна из них, молодая крепкая девушка, не сдержавшись, и вовсе выпалила: — Он по всей Праге ищет ту стерву, что его обрюхатила!

На супругов обрушился громкий, грубоватый женский хохот, под его шквалом они стояли робкие и неприступные, с каким-то поразительным достоинством.

— Пани мамаша, — снова подала голос развязная девушка, — вы плохо следите за своим сыночком! Такого очаровашку я бы на вашем месте вообще не выпускала из дому!

— Смотри в оба, — шепнула пани Затурецкая мужу, и он утрумо и испуганно двинулся дальше, шаг за шагом, словно шел узкой улочкой под градом оскорблений и ударов, но все же шел твердо, не пропуская ни одного женского лица.

Заведующий не переставал безучастно улыбаться; он знал своих женщин и понимал, что с ними кашки не сварить; делая вид, что не слышит их гвалта, спросил пана Затурецкого: — А как, собственно, та женщина выглядела?

Пан Затурецкий, повернувшись к заведующему, медленно и серьезно сказал: — Она была красивой... была очень красивой...

Клара тем временем, склонив голову, жалась в уголке мастерской, выделяясь среди расшалившихся женщин своей взволнованностью и усердной работой. Ах, как скверно она изображала неприметность и невзрачность! И пан Затурецкий, находясь уже в двух шагах от нее, вот-вот должен был заглянуть ей в лицо.

— Если вы только и помните, что она была красива, этого мало, — сказал пану Затурецкому вежливый заведующий. — Красивых женщин полно. Она была маленькая или высокая?

— Высокая, — сказал пан Затурецкий.

— Брюнетка или блондинка?

— Блондинка! — чуть подумав, сказал пан Затурецкий.

Эта часть рассказа может служить притчей о силе красоты. Пан Затурецкий, впервые увидев у меня Клару, был так ослеплен, что по сути даже не видел ее. Клара сотворила перед его взором некую непроницаемую завесу. Завесу света, за которой она была скрыта, словно за вуалью.

А ведь Клара не была ни высокой, ни блондинкой. Это лишь внутреннее величие красоты наделило ее в глазах пана Затурецкого видимостью физического величия. А свет, излучаемый красотой, наделил ее волосы видимостью золотистости.

И вот, когда маленький человечек дошел наконец до угла мастерской, где в своем коричневом рабочем балахоне сидела, судорожно склоняясь над какой-то раскрытой юбкой, Клара, он ее не узнал. Не узнал потому, что никогда ее не видел.

9

Когда Клара несвязно и без должной внятности поведала мне о случившемся, я воскликнул: — Нам повезло!

Но она, всхлипывая, накинулась на меня: — Как это повезло? Не раскрыли меня сегодня, раскроют завтра.

— Хотел бы я знать — как.

— Придут за мной сюда, к тебе.

— Я никого сюда не впусти.

— А если на меня наведут полицию? Или прижмут тебя и вытянут, кто я? Она говорила что-то о суде, обвиняла меня в оскорблении мужа.

— Господи, да там посмеются над ними: ведь все это была шутка, розыгрыш.

— Сейчас не время для шуток, сейчас все принимается всерьез; скажут, что я преднамеренно хотел его опорочить. Разве кто-нибудь поверит, взглянув на него, что он действительно мог приставать к женщине?

— Ты права, Клара, — сказал я, — кто знает, может, тебя и посадят. Но подумай, Карел Гавличек-Боровский тоже сидел в тюрьме, а как высоко взлетел: тебе даже в школе пришлось его проходить.

— Не болтай чушь, — сказала Клара, — ты же знаешь, что я и так вишу на волоске, а если предстану перед уголовной комиссией и это просочится в характеристику — мне уж никогда не выбраться из мастерской. А кстати, хотелось бы знать, как обстоят дела с обещанным местом манекенщицы? Ведь теперь я и спать у тебя не могу, буду бояться, что придут за мной, сегодня же поеду в Челаковице...

Вот таким был один разговор.

А другой состоялся днем после заседания кафедры.

Заведующий кафедрой, убеленный сединами искусствовед и умный человек, пригласил меня в свой кабинет.

— Публикация работы не принесла вам особой пользы, это вы, надеюсь, знаете? — сказал он мне.

— Да, знаю, — ответил я.

— Только ленивый не принимает ее на свой счет. А ректор и вовсе думает, что это прямой выпад против него.

— Что тут поделаешь! — сказал я.

— Ничего, — сказал профессор, — но у вас истек трехлетний срок ассистентской должности, и на нее объявлен конкурс. Конечно, обычно принято отдавать предпочтение тому, кто уже преподает в институте, но уверены ли вы, что комиссия в данном

случае этой традиции не нарушит? Однако не об этом я собирался говорить. До сих пор считалось, что вы добросовестный преподаватель, пользующийся любовью студентов и кое-чему их научивший. Но даже на эту свою репутацию вы не можете теперь опереться. Ректор сообщил мне, что три месяца вы вообще не читали лекций. Причем без уважительных на то причин. Ведь одного этого было бы достаточно, чтобы вас незамедлительно уволить.

Я стал объяснять профессору, что не пропустил ни одной лекции, что все это была просто шутка, и рассказал всю историю с паном Затурецким и Кларой.

— Хорошо, я вам верю, — сказал профессор, — но имеет ли значение, что верю вам я? Сейчас весь институт твердит о том, что вы не занимаетесь со студентами и бездельничаете. Об этом говорили даже в профкоме, а вчера об этом докладывали на коллегии у ректора.

— Но почему никто не поговорил прежде всего со мной?

— О чем с вами разговаривать? Им и так все ясно. Сейчас только и обсуждают всю вашу деятельность на факультете и ищут связь между вашим прошлым и настоящим.

— Что они могут найти дурного в моем прошлом? Вы же сами знаете, как я люблю свою работу! Я никогда не филонил! Совесть у меня чиста.

— Любая человеческая жизнь весьма многозначна, — сказал профессор. — Прошлое каждого из нас можно в равной мере преподать и как биографию почитаемого государственного деятеля, и как биографию преступника. Взгляните на самого себя. Никто не станет отрицать, что вы любили свою работу. Но вы не особенно светились на собраниях, а если и приходили, то по большей части молчали. Никто достаточно ясно не представлял себе ваших взгля-

дов. Я сам помню, как вы не раз, когда речь шла о серьезных вещах, отпускали вдруг какую-нибудь шутку, чреватую сомнениями. Конечно, об этих сомнениях тут же забывали, но сегодня, извлеченные из прошлого, они внезапно приобретают определенный смысл. Или же вспомните, как на факультете вас разыскивали разные женщины и как вы пытались скрыться от них. Или ваша последняя статья, о которой любой при желании может сказать, что она написана с сомнительных позиций. Это, конечно, все частности; но стоит взглянуть на них в свете вашего нынешнего проступка, как они вдруг сливаются в единое целое, свидетельствующее о вашем характере и вашей позиции.

— Но что за проступок? — вскричал я. — Кому угодно я могу объяснить, как все было на самом деле: если люди все еще остаются людьми, они только посмеются над этим.

— Что ж, воля ваша. Но знайте, то ли люди перестали быть людьми, то ли у вас было неверное понятие о людях. Они не станут смеяться. Если вы объясните им, как все было на самом деле, окажется, что вы не только не исполняли своих обязанностей, предписанных вам учебным расписанием, то есть не делали того, что вам положено делать, но, кроме того, еще и читали лекции исподтишка, то есть делали то, что делать вам не положено. Выяснится к тому же, что и ваша личная жизнь далека от образцовой, что у вас без прописки живет некая молодая особа, а уж это произведет крайне неблагоприятное впечатление на председательницу профкома. Дело примет огласку, и кто знает, какие еще поползут слухи, которые весьма кстати придутся всем тем, кого возмущают ваши взгляды, но кто стесняется нападать на вас с открытым забралом.

Я знал, что профессор не хочет меня ни пугать, ни обманывать, но, считая его чудачком, старался не

поддаваться его скепсису. Скандал с паном Затурецким угнетал меня, но пока еще не утомил. Ведь этого коня я оседлал сам и, стало быть, не могу допустить, чтобы он вырвал у меня из рук вожжи и понес куда ему вздумается. Я был готов помериться с ним силами.

И конь не увильнул от борьбы. Когда я пришел домой, в почтовом ящике меня ждала повестка: меня вызывали на собрание уличного комитета.

10

Уличный комитет заседал вокруг длинного стола в какой-то бывшей лавчонке. Седоватый мужчина в очках, с убегающим подбородком указал мне на стул. Поблагодарив, я сел, и он, взяв слово, объявил мне, что уличный комитет следит за мной уже долгое время, что им хорошо известно, какой беспорядочный образ жизни я веду; что это производит дурное впечатление на окружающих; что жильцы дома уже однажды жаловались на меня, когда шум в моей квартире всю ночь не давал им покоя, и что этого вполне достаточно, чтобы уличный комитет составил обо мне надлежащее мнение; однако, помимо всего, к ним за помощью обратилась товарищ Затурецкая, супруга научного работника, и сообщила, что еще полгода назад я должен был написать рецензию на научную статью ее мужа, но не сделал этого, хотя прекрасно знал, что от моего отзыва зависит судьба упомянутой работы.

— Какая еще научная работа! — прервал я мужчину с убегающим подбородком. — Это стряпня из надерганных отовсюду мыслей.

— Любопытно, товарищ, — вмешалась в разговор изысканно одетая блондинка лет тридцати, на лицо которой была (очевидно раз и навсегда) накле-

ена сияющая улыбка. — Позвольте спросить: какая у вас профессия?

— Я занимаюсь теорией изобразительного искусства.

— А товарищ Затурецкий?

— Не знаю. Вероятно, он стремится к чему-то подобному.

— Вот видите, — восторженно обратилась блондинка к собравшимся, — товарищ видит в работнике сходной профессии отнюдь не товарища, а своего конкурента.

— Разрешите продолжить, — вступил мужчина с убегающим подбородком. — Товарищ Затурецкая сказала нам, что ее муж зашел к вам в квартиру и встретился там с какой-то женщиной. И та потом якобы оклеветала его, сказав вам, что пан Затурецкий сексуально домогался ее. У товарищ Затурецкой на руках справка, что ее муж на подобные действия не способен. Она хочет знать имя женщины, оговорившей ее мужа, и передать дело на рассмотрение уголовной комиссии национального комитета, ибо клевета может нанести моральный и материальный ущерб ее мужу.

Я попытался было спустить на тормозах несообразную остроту этого анекдотичного происшествия: — Послушайте, товарищи, — сказал я, — ведь вся эта история выеденного яйца не стоит. Ни о каком моральном и материальном ущербе не может быть и речи. Эта работа настолько слаба, что я, да и любой другой, не мог бы рекомендовать ее. А если между этой женщиной и паном Затурецким возникло какое-то недоразумение, то, полагаю, нет смысла ради этого созывать собрание.

— Что касается наших собраний, товарищ, не ты, по счастью, будешь принимать решения, — срезал меня мужчина с убегающим подбородком. — И твое теперешнее утверждение, что работа нестоящая, мы можем рассматривать не иначе как месть.

Товарищ Затурецкая дала нам письмо, которое ты написал по прочтении его труда.

— Да, в самом деле. Однако в этом письме я ни словом не обмолвился о качестве работы.

— Это правда. Но ты пишешь, что охотно помог бы ему; из твоего письма явно следует, что работу товарища Затурецкого ты высоко ставишь. А теперь ты заявляешь, что это пустая стряпня. Почему ты уже тогда не написал этого? Почему ты не сказал ему этого прямо в лицо?

— Товарищ с двойным дном, — сказала блондинка.

Тут в дискуссию вступила пожилая женщина с перманентом; она сразу взяла быка за рога: — Мы хотели бы от тебя услышать, кто эта женщина, с которой пан Затурецкий встретился в твоём доме?

Я понял, что, видимо, не в моих силах освободить эту нелепицу от ее бессмысленной значимости и что у меня остается единственный выход: сбить их со следа, отвлечь, отвести их от Клары, подобно тому как куропатка уводит рыскающую собаку от своих птенцов, предлагая взамен себя.

— Черт подери, я не помню ее имени, — сказал я.

— Как это не помнишь имя женщины, с которой живешь? — спросила женщина с перманентом.

— У вас, товарищ, можно сказать, образцово-показательное отношение к женщинам, — сказала блондинка.

— Возможно, я бы и вспомнил, но мне надо подумать. Вы не знаете, когда пан Затурецкий посетил меня?

— Это было... извольте... — Мужчина с убегающим подбородком поглядел в свои бумаги. — Четырнадцатого, в среду, после обеда.

— В среду... четырнадцатого... постойте... — Подперев ладонью голову, я задумался. — Да, да, уже при-

поминаю. Это была Гелена. — Я видел, как все напряженно уставились на мои губы.

— Гелена... а как дальше?

— Как дальше? Увы, этого я не знаю. С какой стати мне ее об этом спрашивать? Сказать откровенно, я даже не совсем уверен, что ее звали Гелена. Я называл ее так, потому что ее рыжий муж казался мне похожим на Менелая. Произошло это во вторник вечером, познакомился я с ней в одном винном погребке; когда ее Менелай отошел к стойке пропустить коньячку, мне удалось переброситься с ней двумя-тремя словами. На другой день она пришла ко мне и пробыла до вечера. Вечером мне пришлось часа на два покинуть ее — на факультете было собрание. А вернувшись, нашел ее в полном расстройстве: дескать, какой-то мужичок, заявившийся в дом в мое отсутствие, домогался ее; решив, что я с ним в сговоре, разбиделась и больше слышать обо мне не захотела. Как видите, я даже не успел узнать ее настоящее имя.

— Товарищ, правда или нет все то, что вы говорите, — снова взяла слово блондинка, — но мне кажется совершенно непонятным, как вы воспитываете нашу молодежь. Разве наша жизнь не вдохновляет вас на что-то другое, кроме попок и распутства с женщинами? Что ж, можем вас уверить, что нам придется высказать свое мнение в соответствующих инстанциях.

— Дворник ни о какой Гелене и словом не обмолвился, — встряла в разговор пожилая дама с перманентом. — Но он доложил нам, что у тебя уже месяц живет без прописки какая-то девица с фабрики мод. Не забывай, товарищ, ты снимаешь квартиру! Думаешь, вот так запросто кто-то может жить у тебя? Думаешь, ваш дом — бордель? Что ж, не хочешь нам назвать ее имя, милиция уж как-нибудь его установит.

Я чувствовал, как почва ускользает у меня из-под ног. На факультете атмосфера неприязни, о которой мне говорил профессор, становилась все ощутимее. Хотя пока еще никто не вызывал меня на соответствующий разговор, но там-сям я улавливал какие-то намеки, а кое-что из сочувствия выкладывала мне пани Мария: в ее канцелярии преподаватели пили кофе и давали волю своему языку. Через несколько дней должна была заседать конкурсная комиссия, уже собравшая нужные характеристики; я на минуту представил себе, как ее члены зачитывают отчет уличной организации, отчет, о котором знаю лишь то, что он тайный и обсуждению не подлежит.

Случаются в жизни ситуации, когда приходится идти на уступки. Когда ты вынужден сдать менее важные позиции во имя сохранения более важных. Мне казалось, что этой последней и самой важной позицией является моя любовь. Да, в эти тревожные дни я вдруг начал осознавать, что люблю свою модисточку и крепко привязан к ней.

В тот день я встретился с ней у музея. Нет, не дома. Разве дом оставался еще домом? Разве дом — это помещение со стеклянными стенами? Помещение, охраняемое биноклями? Помещение, в котором приходится прятать любимую еще с большей осторожностью, чем контрабанду?

Дома — уже не значило дома. Мы чувствовали себя так, словно проникли на чужую территорию и могли быть там в любую минуту застигнуты с полным, у нас замирало сердце при звуке шагов в коридоре, мы постоянно ждали, что кто-то постучит в дверь и в этом стуке будет упорствовать. Клара снова стала ездить в Челаковице, и у нас уже не возникало желания встречаться даже ненадолго в нашем ставшем чужим доме. Пришлось попросить

друга-художника разрешить вечерами пользоваться его мастерской. В тот день я впервые получил от нее ключ.

И вот мы с Кларой оказались на Виноградах под высокой крышей, в огромнейшем помещении с одной маленькой кушеткой и широким покатым окном, откуда видна была вся вечерняя Прага; среди множества картин, прислоненных к стенам, среди беспорядочно и беззаботно разбросанного художнического хлама на меня сразу же нахлынули прежние ощущения блаженной свободы. Раскованно усевшись на тахте, я всадил штопор в пробку и откупорил бутылку вина. Свободно и весело болтая, я с нетерпением предвкушал прекрасный вечер и ночь.

Однако тоска, оставившая меня, всей своей тяжестью придавила Клару.

Я уже упоминал о том, что с некоторых пор Клара, отбросив всякое жеманство, с явной непринужденностью поселилась в моей мансарде. Однако теперь, когда мы ненадолго оказались в чужой мастерской, она почувствовала себя неловко. Более чем неловко. «Меня это унижает», — сказала она.

— Что тебя унижает? — спросил я.

— Что нам пришлось прийти на какое-то время в чужую квартиру.

— Почему тебя унижает, что нам пришлось прийти на какое-то время в чужую квартиру?

— Потому что в этом есть что-то унижительное.

— У нас не было выбора.

— Да, — ответила она, — но в чужой квартире я кажусь себе продажной девкой.

— Бог мой, почему ты должна казаться себе продажной девкой в чужой квартире? Девицы легкого поведения по большей части занимаются своим делом в собственных, а не в чужих квартирах...

Разумными доводами тщетно было пробивать прочную стену иррациональных чувств, из которых, говорят,

соткана душа женщины. Наш разговор с самого начала таил в себе дурное предзнаменование.

В тот вечер я рассказал Кларе о том, что говорил мне профессор, что было на уличном комитете, и старался убедить ее, что мы в конце концов победим, если будем любить друг друга и будем вместе.

Клара, помолчав немного, сказала, что я сам во всем виноват. «Ты сможешь хотя бы помочь мне выбраться из этой пошивочной?»

Я сказал, что теперь ей, возможно, придется немного потерпеть.

— Вот видишь, — сказала Клара, — это были одни обещания, а в конце концов ты и пальцем не шевельнул. А сама я оттуда не выберусь, даже если бы кто-то и захотел мне помочь, ведь теперь по твоей же вине характеристика у меня будет испорчена.

Я постарался уверить Клару, что история с паном Затурецким не может уж так ей навредить.

— Все равно никак не пойму, почему ты не хочешь написать эту рецензию. Если бы ты ее написал, все уладилось бы само собой.

— Поздно, Клара, — сказал я. — Если я напишу эту рецензию, скажут, что я зарубаю статью из чувства мести, и станут еще яростнее меня атаковать.

— А почему тебе надо ее зарубить? Напиши положительный отзыв.

— Не могу, Клара. Эта работа ни в какие ворота не лезет!

— Подумаешь, какое дело! Почему ты вдруг строишь из себя правдолюбца? Разве это не ложь была, когда ты написал этому недоростку, что в «Изобразительной мысли» твое мнение и в грош не ставят? Или это не ложь, когда ты сказал ему, что он хотел меня совратить? И не ложь ли, когда ты болтал о какой-то Гелене? А уж если ты столько наврал, что тебе стоит соврать еще раз и дать поло-

жительный отзыв? Только так ты и сможешь уладить эту историю.

— Вот что скажу тебе, Клара, — ответил я. — Ты думаешь, что ложь — всего лишь ложь, не более того, и кому-то могло бы показаться, что ты права. Но ты не права. Я могу выдумывать черт знает что, дурачить людей, устраивать всякие розыгрыши, озорничать, но при этом не чувствовать себя луном или человеком с нечистой совестью; мои враки, если тебе угодно так называть их, — это я сам, в них мое естество, такой ложью я не прикрываюсь, выдавая себя за кого-то другого, такой ложью я, собственно, говорю правду. Но есть вещи, не терпящие лжи. Это те вещи, до сути которых я дошел, смысл которых я распознал, вещи, которые я люблю и воспринимаю всерьез. Тут не до шуток. Солги я здесь, я унизил бы себя сам, а это свыше моих сил, не требуй от меня этого, это исключено.

Мы так и не поняли друг друга.

Но Клару я действительно любил и готов был сделать все, чтобы ей не в чем было меня упрекнуть. На следующий день я написал письмо пани Затурской, что жду ее послезавтра в своем кабинете в два часа пополудни.

12

Верная своей предельной методичности, пани Затурская постучала в назначенный срок с точностью до минуты. Я открыл ей дверь и пригласил войти.

Наконец-то я увидел ее. Это была высокая, очень высокая женщина, с ее крупного простонародного лица на меня смотрели бледно-голубые глаза. «Разденьтесь, пожалуйста», — сказал я, и она неловкими движениями стала снимать с себя какое-то длинное темное пальто, приталенное и странно скроенное, по-

чему-то вызывавшее в памяти образ старинных военных шинелей.

Я не хотел начинать наступление первым, предпочитая, чтобы сначала выложил свои карты противник. Пани Затурецкая села, и я, подбросив несколько вводных фраз, заставил ее заговорить.

— Вы знаете, почему я искала встречи с вами, — сказала она серьезным тоном, без всякой агрессивности. — Мой муж всегда очень ценил вас как специалиста и человека принципиального. Все зависело только от вашего отзыва. Но вы отказались его дать. Мой муж эту статью писал три года. Ему в жизни было труднее, чем вам. Учитель, он каждый день ездил в школу за тридцать километров от Праги. В прошлом году я сама заставила его бросить это занятие и целиком посвятить себя науке.

— Пан Затурецкий не работает? — спросил я.

— Нет...

— А на что вы живете?

— Пока мне приходится тащить все на себе. Наука — страсть мужа. Если бы вы знали, сколько всего он проштудировал, сколько исписал бумаги. Он всегда уверял, что настоящий ученый должен написать сто страниц, чтобы из них осталось тридцать. И тут вдруг появилась эта особа. Поверьте мне, он никогда бы не мог сделать то, в чем обвинила его эта девка. Я в это не верю, пусть она скажет это нам в глаза! Я знаю женщин, может, она любит вас, а вы ее нет. Может, она просто хотела возбудить в вас ревность. Но верьте мне, мой муж не способен ни на что подобное!

Я слушал пани Затурецкую, и вдруг мной овладело странное чувство: я уже не видел в ней ту женщину, из-за которой я буду вынужден оставить факультет, из-за которой между мной и Кларой пролегла тень, ту женщину, из-за которой я провел столько дней в злобе и невзгодах. Связь между нею и событиями, в которых мы оба теперь играли такую

печальную роль, показалась мне вдруг неясной, свободной, случайной, беспричинной. Вдруг я осознал, что это была лишь иллюзия, когда я считал, что мы сами седлаем свои приключения и управляем их богом; что, возможно, это вовсе *не наши* приключения, что скорее всего они навязаны нам *извне*; что они никоим образом не характерны для нас; что мы не в ответе за их диковинный путь; что они уносят нас, управляемые откуда-то *чужими* силами.

Впрочем, глядя в глаза пани Затурецкой, я испытывал ощущение, что эти глаза не могут провидеть следствия поступков, казалось, что они вообще незрячие; что глаза лишь плавают по лицу; что просто размещаются на нем.

— Как знать, может, вы и правы, пани Затурецкая, — примирительно сказал я. — Может, эта девушка и впрямь говорила неправду, но представьте, что значит, когда мужчина ревнивец; я поверил ей и разнервничался. Это с каждым может случиться.

— Да, вы же знаете, что это именно так, — сказала пани Затурецкая, и видно было, что у нее камень упал с души. — Хорошо, что вы сами это признаете. Мы боялись, что вы верите ей. Ведь эта женщина могла испортить моему мужу всю жизнь. Я уж не говорю о том, какую тень это бросает на его моральный облик. Но это мы бы уж как-нибудь проглотили. А вот на вашу рецензию муж делает большую ставку. В редакции нас уверили, что все зависит исключительно от вас. Муж убежден, что, как только статья будет опубликована, его наконец признают научным работником. Уж коли все прояснилось, скажите, пожалуйста, вы напишете для него рецензию? И как скоро это может произойти?

Сейчас настала минута, когда я мог бы отомстить за все и тем самым убаготворить свой гнев, однако никакого гнева в эту минуту я не испытывал, и то, что я сказал, сказал лишь потому, что не было вы-

хода: — Пани Затурецкая, с этой рецензией не все так просто. Скажу вам чистосердечно, как все было, хотя я и не люблю говорить в глаза людям неприятные вещи. Это мой большой недостаток. Я прятался от пана Затурецкого в надежде, что он догадается, почему я избегаю его. Дело в том, что работа его крайне слабая, не представляющая никакой научной ценности. Вы верите мне?

— Мне трудно в это поверить. Нет, я не верю вам, — сказала пани Затурецкая.

— Прежде всего эта работа лишена всякой самостоятельности. Поймите, ученый должен всегда прийти к чему-то новому; ученый не может списывать лишь то, что уже известно, что открыли другие.

— Мой муж никоим образом не списывал эту работу.

— Пани Затурецкая, вы же ее читали... — Я хотел продолжить, но пани Затурецкая прервала меня:

— Нет, не читала.

Я был поражен: — Тогда прочтите!

— Я плохо вижу, — сказала пани Затурецкая. — Вот уже пять лет, как я не прочла ни строчки, но мне и не надо читать, чтобы знать, честен мой муж или нет. Это определяется не чтением, иначе. Я знаю своего мужа, как мать своего ребенка, я о нем знаю все. Все, что он делает, всегда честно.

Мне пришлось прибегнуть к самому худшему. Я прочитал пани Затурецкой абзац из статьи ее мужа, а затем процитировал соответствующие места из разных авторов, у которых пан Затурецкий заимствовал мысли и формулировки. Разумеется, пояснил я, речь шла не о сознательном плагиате, а о произвольной подчиненности корифеям, к которым пан Затурецкий питал безграничное уважение. Но любой, кто услышит эти сравнительные пассажи, легко поймет, что эту работу не может опубликовать ни один серьезный научный журнал.

Не знаю, насколько пани Затурецкая сумела сосредоточиться на моем объяснении, насколько следила за ним и воспринимала его, но она покорно сидела в кресле, покорно и послушно, точно солдат, знающий, что не смеет уйти со своего поста. Продолжалось это примерно полчаса. Когда мы кончили, пани Затурецкая поднялась с кресла и, уставившись на меня своими прозрачными глазами, бесцветным голосом попросила извинения; но я знал, что она не утратила веры в своего мужа, и если кого-то в чем-то и упрекает, так только лишь самое себя, что не сумела противостоять моим аргументам, казавшимся ей темными и невразумительными. Она надела свою военную шинель, и я понял, что эта женщина — солдат, печальный солдат, утомленный долгими походами, солдат, не способный осознать смысл приказов, но безоговорочно их выполняющий, солдат, который уходит сейчас побежденным, но не заляпанным.

13

— Ну вот, теперь тебе ничего не нужно бояться, — сказал я Кларе, пересказав ей в Далматском винном погребе свой разговор с пани Затурецкой.

— А мне и так нечего было бояться, — ответила Клара с удивившей меня самоуверенностью.

— Как это «ничего было»? Если бы не ты, я бы вообще не встречался с пани Затурецкой!

— То, что ты встретился с ней, хорошо, ведь ты их достаточно помучил. Доктор Калоусек сказал, что интеллигентному человеку трудно это понять.

— Ты виделась с Калоусеком?

— Виделась, — сказала Клара.

— И ты ему все рассказала?

— Ну и что? Разве это тайна? Теперь я хорошо знаю, что ты собой представляешь.

— Ну-ну!

— Сказать тебе, кто ты?

— Пожалуйста, скажи.

— Типичный циник.

— Это тебе Калоусек сказал?

— Почему Калоусек? Думаешь, я не могу сообразить это сама? Ты что, думаешь, я не способна тебя раскусить? Ты любишь водить людей за нос. Пану Затурецкому обещал отзыв...

— Я не обещал ему отзыв!

— Все равно. А мне обещал место. От пана Затурецкого ты отделался, все свалив на меня, от меня — все свалив на пана Затурецкого. Но знай, это место я получу.

— Калоусек устроит? — попытался я съязвить.

— Не ты же! Ты и понятия не имеешь, как плохи твои дела.

— А ты имеешь?

— Имею. Этот конкурс ты не пройдешь и рад будешь радехонек, если тебя примут на работу в какую-нибудь захолустную галерею. Но ты должен понять, что все получилось только по твоей вине. И, если позволишь, дам тебе совет: постарайся быть всегда честным и никогда не ври, потому что вруна не станет уважать ни одна женщина.

Она встала, подала мне (очевидно, в последний раз) руку, повернулась и ушла.

И лишь минуту спустя до меня дошло (несмотря на леденящую тишину, обступившую меня), что моя история отнюдь не трагического, а скорее комического свойства.

В какой-то мере это утешило меня.

ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО ВЕЧНОГО ЖЕЛАНИЯ

...не знают они, что их влечет охота,
а вовсе не добыча.

(Блез Паскаль)

МАРТИН

Мартин умеет то, чего не умею я: остановить любую женщину на любой улице. Должен признаться: за то долгое время, что я знаком с Мартином, я немало пользовался этим его даром, ибо люблю женщин ничуть не меньше, чем он, хотя мне и далеко до его сногшибательной дерзости. С другой стороны, случалось, что Мартин здорово плошал, когда так называемый захват женщины становился для него лишь проявлением самодовлеющей виртуозности, чем он частенько и ограничивался. Поэтому не без определенной горечи он говаривал, что подобен нападающему, который из любви к искусству пасует отдельные мячи своему партнеру, забивающему затем дешевые голы и стяжающему дешевую славу.

В этот понедельник, дожидаясь его днем в кафе на Вацлавской площади, я разглядывал толстенную немецкую книгу по этрусской культуре. Университетская библиотека несколько месяцев хлопотала о том, чтобы мне на время прислали ее из Германии, и когда я наконец получил сию бесценную книгу, то, как реликвию, не выпускал из рук и даже рад был, что Мартин запаздывает и я могу, сидя за столиком, спокойно полистать ее.

Стоит мне подумать о древней античной культуре, как меня пронизывает грусть. Кроме прочего, воз-

можно, она навеяна печальной завистью к уныло-сладкой неспешности тогдашней истории; эпоха старой египетской культуры насчитывала несколько тысячелетий; эпоха греческой античности — почти целое тысячелетие. В этом смысле жизнь отдельного человека схожа с историей человечества: поначалу она погружена в вязкую неспешность и только потом понемногу, но с течением времени все заметнее, ускоряется. Мартину как раз два месяца назад стукнуло сорок.

ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ

Именно он и вывел меня из задумчивости. Открыв стеклянную дверь кафе, он напрямик направился ко мне, делая выразительные жесты и гримасы в сторону столика, за которым над чашечкой кофе склонилась молодая женщина. Не отрывая от нее взора, он подошел ко мне и сказал: — Что ты об этом думаешь?

Я почувствовал себя пристыженным: погруженный в свой фолиант, я заметил девушку только сейчас и, конечно, не мог не признать, что она хороша. Но в ту же минуту девушка распрямила стан и, подозревая человека с черной бабочкой, поспешно расплатилась.

— Расплатись тоже! — приказал Мартин.

Мы было думали, что придется догонять девушку, но, по счастью, она задержалась в гардеробе. Она оставила там хозяйственную сумку, и гардеробщица по меньшей мере с минуту откуда-то извлекала ее, прежде чем поставить на барьер перед девушкой. Та подала гардеробщице какую-то мелочь, а Мартин в тот же миг успел вырвать у меня из рук мою немецкую книгу.

— Давай-ка лучше положим ее сюда, — сказал он с бравурной решимостью и стал старательно засовывать книгу в сумку к девушке. Она сделала удивленные глаза, не находя от растерянности слов.

— В руке нести неудобно, — пояснил Мартин, а когда девушка изъявила желание нести сумку сама, отругал меня за неучливое поведение.

Незнакомка оказалась медицинской сестрой из одной периферийной больницы; она задержалась в Праге и сейчас спешила к автобусному вокзалу на Флоренце. Достаточно было и небольшого отрезка пути до остановки трамвая, чтобы успеть сказать друг другу самое главное и договориться о том, что в субботу мы приедем в Б. навестить ее, такую, дескать, прелестную барышню, которая, как многозначительно подчеркнул Мартин, несомненно будет в обществе какой-нибудь своей хорошенькой подружки.

Трамвай приближался, я подал сумку, и она попыталась вытащить из нее мою книгу; но Мартин широким жестом помешал этому, заявив, что в субботу мы приедем, а пока неплохо было бы и ей полистать ее. Барышня недоуменно улыбнулась, но трамвай уже увозил ее прочь, а мы стояли и махали вслед.

Делать нечего, книга, которую я так долго и с таким нетерпением ждал, скрылась вдруг в туманных далях; что и говорить, было страшно досадно; но, несмотря на это, какое-то безрассудство наполняло меня счастьем и на неожиданно выросших крыльях возносило над этой досадой. А Мартин тут же стал соображать, каким образом ему отпроситься на субботний день и ночь у своей молоденькой жены (и это действительно так: дома у него молодая жена, и, что хуже того, он любит ее; и что еще хуже: боится ее; и что совсем плохо: боится за нее).

УСПЕШНЫЙ СМОТРЁЖ

Для нашего путешествия я за небольшую цену взял напрокат прелестный «фиат» и в субботу в два

часа пополудни подкатил к дому Мартина. Мартин был уже наготове, и мы тронулись. Стоял июль, и было нестерпимо жарко.

Мы стремились попасть в Б. как можно раньше, но, увидев по пути в одной деревне двух пареньков в трусиках и с явно мокрыми волосами, я остановил машину. Пруд и вправду был неподалеку, в нескольких шагах от дороги, за околлицей. Сон у меня уже не прежний, прошлой ночью я вертелся в постели, неведь чем озабоченный, часов до трех и потому мечтал освежиться; Мартин тоже был «за».

Раздевшись, мы прыгнули в пруд. Нырнув в воду, я быстро поплыл к другому берегу. Но Мартин, едва ополоснувшись, тотчас вылез. Поплавав и снова вернувшись на берег, я нашел его в состоянии сосредоточенного внимания. На берегу визжала стайка девочек, где-то вдали гоняла мяч местная молодежь, но Мартин буравил взглядом стройную фигурку девушки, стоявшей к нам спиной метрах в пятидесяти и недвижно уставившейся в воду.

— Смотри, — сказал Мартин.

— Смотрю.

— И что скажешь?

— Что я могу сказать?

— И ты не знаешь, что сказать?

— Надо подождать, пока она обернется, — предложил я.

— Нам незачем ждать, пока она обернется. То, что я вижу уже сейчас, меня вполне устраивает.

— Допустим, — сказал я, — но, к сожалению, у нас нет времени что-то предпринимать в этом плане.

— Хотя бы присмотреть, присмотреть! — сказал Мартин и обратился к какому-то пареньку, чуть поодаль надевавшему трусики: — Мальчик, скажи, пожалуйста, ты не знаешь, как зовут вон ту девушку? — И он указал на девушку, которая в какой-то

странной апатии все еще продолжала стоять в прежней позе.

— Вон ту?

— Да, ту.

— Она не тутошня, — сказал мальчик.

Мартин обратился к девочке лет двенадцати, загорававшей рядом:

— Девочка, не знаешь, кто та девушка, что стоит на берегу?

Девочка послушно приподнялась: — Вон та?

— Да, та.

— Это Манка.

— Манка? А дальше как?

— Манка Панку... из Траплиц...

Девушка все еще продолжала стоять спиной к нам. Потом, нагнувшись, достала купальную шапочку, а когда, надевая ее, выпрямилась, Мартин, подскочив ко мне, сказал: — Это Манка Панку из Траплиц. Можем ехать.

Он был вполне спокоен, доволен и, видимо, уже не думал ни о чем, кроме предстоящей дороги.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Мартин употребляет для этого слово *смотрёж*. Исходя из своего богатого опыта, он пришел к выводу, что не так уж трудно *соблазнить* девушку, как трудно, если у нас высокие количественные запросы, всегда *иметь на примете* достаточное число девушек, которых мы пока еще не соблазнили.

Поэтому, утверждает он, необходимо постоянно, в любое время и при любых обстоятельствах, проводить самый широкий *смотрёж*, то есть фиксировать в памяти или в записной книжке имена тех женщин, которых мы присмотрели для себя и когда-нибудь смогли бы *закадрить*.

Кадрёж — это уже высшая ступень деятельности, означающая, что с определенной женщиной мы вступаем в контакт, знакомимся и находим к ней нужный подход.

Кто любит, похваляясь, оглядываться назад, тот делает упор на имена женщин, которых любил; но тот, кто смотрит вперед, в будущее, должен заботиться прежде всего о том, чтобы иметь в запасе достаточное количество *присмотренных* и *закадренных* женщин.

Таким образом, выше *кадрёжа* существует лишь единственная, последняя ступень деятельности, и я, в угоду Мартину, рад подчеркнуть, что те, кто устремлен исключительно к этой последней ступени, ничтожные и примитивные мужланы; они напоминают мне деревенских футболистов, кидающихся сломя голову на ворота противника и забывающих, что к голу (как и ко многим последующим голам) ведет не только шальное желание пнуть мяч, но прежде всего обстоятельная и честная игра на поле.

— Ты думаешь, что когда-нибудь попадешь в Траплице? — спросил я Мартина, когда мы снова двинулись в путь.

— Кто знает... — сказал Мартин.

— Во всяком случае, — подытожил я, — день начинается у нас успешно.

ИГРА И НЕОБХОДИМОСТЬ

К больнице в Б. мы подъехали в отличном настроении, примерно в полчетвертого дня. По телефону мы вызвали нашу сестричку, и через минуту она уже спустилась к нам вниз в форменной шапочке и белом халате. Заметив, что она покраснела, я счел это доброй приметой.

Мартин сразу взял девушку в оборот, и она сообщила нам, что в семь кончается ее смена и что в это время мы должны ждать ее у больницы.

— С барышней-коллегой вы уже договорились? — спросил Мартин, и девушка утвердительно кивнула:

— Мы придем вдвоем.

— Отлично, — сказал Мартин, — однако не можем же мы поставить нашего друга, пана коллегу, перед свершившимся фактом, дотоле ему не известным.

— Ну хорошо, — сказала девушка, — мы можем взглянуть на нее; Божена в терапии.

Мы не торопясь пошли через больничный двор, и я робко заметил: — А та толстая книга, она в порядке?

Сестричка кивнула и сказала, что книга в порядке и находится здесь, в больнице. У меня гора свалилась с плеч, и я настоял на том, чтобы мы прежде всего пошли за книгой.

Конечно, Мартин счел неудобным, что я столь откровенно книгу предпочитаю женщине, которую мне предстоит оценить, но я ничего не мог с собой поделать.

Скажу прямо: в течение тех нескольких дней, что книга по культуре этрусков находилась вне поля моего зрения, я ужасно переживал. И если я сумел это безропотно вынести, даже не пошевелив пальцем, то мне понадобилось огромное самообладание, чтобы ни при каких обстоятельствах не испортить Игры, цену которой я познал с детства и, научившись ее уважать, подчинял ей любые свои личные интересы.

В то время как у меня происходила трогательная встреча с моей книгой, Мартин не прекращал болтовни с сестричкой и добился того, что она обещала попросить у своего сослуживца предоставить ей на

вечер дачу, расположенную неподалеку от Готерского озера. В чрезвычайно хорошем настроении мы втроем наконец отправились через больничный двор к маленькому зеленому флигельку, где помещалась терапия.

Нам навстречу как раз шли сестра и врач. Врач, комичный верзила с оттопыренными ушами, полностью завладел моим вниманием, тем паче что наша сестричка в эту минуту подтолкнула меня: я хихикнул. Когда они прошли мимо, Мартин повернулся ко мне: — Ну тебе и везет, парень. Такой классной барышни ты совсем не заслуживаешь.

Постеснявшись сказать, что смотрел исключительно на верзилу врача, а девушки не заметил, я все-таки решил тоже похвалить ее. Впрочем, по существу я вовсе и не покривил душой: я ведь доверяю вкусу Мартина куда больше, чем своему, ибо его вкус подкрепляется гораздо большим интересом, чем мой. Я люблю объективность и упорядоченность во всем, в том числе и в вопросах любви, а потому знатока предпочитаю дилетанту.

Иной мог бы счесть лицемерием, когда я называю дилетантом себя, разведенного человека, рассказывающего сейчас об одной из своих (причем явно не из ряда вон выходящих) авантур. И все-таки: я дилетант. Можно было бы сказать, что я *играю* во что-то, тогда как Мартин этим *живет*. Подчас меня охватывает чувство, что вся моя полигамная жизнь возникла лишь из желания подражать другим мужчинам; не стану отрицать, что это подражание доставляло мне немало удовольствия, однако не могу избавиться от ощущения, что это пристрастие носит характер чего-то совершенно свободного, игрового и необязательного, сравнимого, скажем, с посещением картинных галерей или чужих краев и не подчиненного тому безусловному императиву, который ощущался в эротической жизни Мартина. Именно при-

существование этого безусловного императива и возвышало его в моих глазах. Суждения Мартина о женщинах, сдавалось мне, произносила его устами сама Природа, сама Необходимость.

ЛУЧ РОДНОГО ОЧАГА

Когда мы оказались за пределами больницы, Мартин с особым нажимом сказал, что сегодня нам потрясюще все удастся, и затем добавил: — Вечером, конечно, надо будет поторопиться. В девять хочу быть дома.

Я оцепенел: — В девять? Значит, отсюда надо уехать в восемь! Стало быть, мы ехали сюда совершенно напрасно! Я думал, что впереди у нас целая ночь!

— Зачем тебе разбазаривать время!

— Но какой смысл тащиться в такую даль ради одного часа? Что ты собираешься предпринять от семи до восьми?

— Все. Как ты изволил заметить, я организовал дачу, так что все должно идти как по маслу. Все зависит от твоей решительности.

— Но почему, черт возьми, ты должен быть в девять дома?

— Я обещал Иржине. Субботними вечерами она привыкла перед сном играть в «джокера».

— О Бог мой... — выдохнул я.

— Вчера у Иржинки были кой-какие передраги в конторе, не отнимать же у нее эту маленькую субботнюю радость! Ты ведь знаешь, Иржинка — самая лучшая женщина на свете... К тому же и у тебя в Праге, — добавил он, — впереди будет целая ночь.

Было ясно: любые возражения тщетны. Заботу Мартина о спокойствии жены никогда и ничем нель-

зя было умерить, а его веру в беспредельные эротические возможности каждого часа, а то и минуты, никогда и ничем было не поколебать.

— Пошли, — сказал Мартин, — до семи еще три часа. Зачем зря терять время!

ОБМАН

Мы двинулись по широкой аллее городского парка, служившего здешним обитателям для променада. Оглядывая парочки девушек, проходивших мимо или сидевших на скамейках, мы всякий раз разочаровывались в их достоинствах.

Правда, Мартин, окликнув двух девушек, завязал с ними разговор и даже назначил им свидание, но я-то знал, что он относится к этому несерьезно. Это был так называемый *тренировочный кадрёж*, которым Мартин подчас занимался, чтобы не утратить сноровки.

В полном унынии мы вышли из парка на улицы, зиявшие провинциальной пустотой и скукой.

— Пойдем что-нибудь выпьем, жажда мучит, — сказал я Мартину.

Мы нашли какое-то здание, на котором была вывеска «КАФЕ». Войдя внутрь, обнаружили, что здешние посетители обречены исключительно на самообслуживание; от помещения, выложенного кафелем, веяло холодом и отчужденностью; у неулыбчивой дамы за стойкой мы купили подкрашенной воды и пошли с ней к столу, залитому соусом и побуждавшему нас к скорейшему уходу.

— Не обращай ни на что внимания, — сказал Мартин, — уродство в нашем мире имеет и свою положительную сторону. Никому нигде не хочется задерживаться, люди отовсюду спешат убраться, и это создает необходимый ритм жизни. Но нас на эту

удочку не поймает. В безопасности этой гнусной забегаловки у нас есть возможность кое о чем потолковать. — Выпив лимонад, он спросил: — Ты уже кадрил ту медичку?

— Разумеется, — сказал я.

— А какая она из себя? Опиши мне ее подробно!

Я описал ему медичку. Это не составило мне особого труда, так как никакой медички в действительности не было. Да. Я, пожалуй, предстану в невыгодном свете, но это так: я *выдумал ее*.

Однако, слово даю, сделал я это не по злому умыслу и не для того, чтобы как-то выламываться перед Мартином или пудрить ему мозги. Выдумал я эту медичку просто потому, что уже не мог отбиться от его приставаний.

А требования Мартина к этой сфере моей деятельности были непомерными. Он был убежден, что я ежедневно встречаю все новых и новых женщин. Он видел во мне не того, кто я есть на самом деле, и, признайся я ему, что за всю неделю я не только не овладел ни одной новой женщиной, но ни к одной даже не притронулся, он счел бы меня лицемером.

Вот потому-то мне и пришлось примерно неделю назад придумать смотрёж одной медички. Мартин был доволен и подбивал меня перейти к кадрёжу. И сегодня он отслеживал мои успехи.

— А какого она примерно уровня? — спросил он, закрыв глаза и выуживая откуда-то из сумрака памяти некий критерий; затем, вспомнив одну нашу общую знакомую, спросил: — ...На уровне Маркеты?

— Бери гораздо выше, — ответил я.

— Да ты что... — удивился Мартин.

— Она на уровне твоей Иржины.

Собственная жена для Мартина — наивысший критерий. Заслушав мой отчет, Мартин засветился от счастья и погрузился в мечты.

УСПЕШНЫЙ КАДРЁЖ

В заведение вошла девушка в вельветовых брюках и куртке. У стойки подождала подкрашенной воды и, видимо, собираясь ее выпить, направилась к соседнему столику; даже не присев, поднесла стакан ко рту и стала пить.

Повернувшись к ней, Мартин сказал: — Барышня, мы приезжие и хотели бы у вас спросить...

Девушка улыбнулась. Она была вполне миленькая.

— Ужасно жарко, и мы не знаем, что делать.

— Идите искупайтесь.

— Не худо бы. Но мы не знаем, где у вас тут купаются.

— Здесь нигде не купаются.

— Как это так?

— Есть один бассейн, но вот уже месяц, как воду спустили.

— А река?

— Углубляют русло.

— Так где же вы купаетесь?

— Если только в Готерском озере, но туда самое малое семь километров.

— Ерунда, у нас авто, достаточно, если укажете нам дорогу.

— Будьте нашим экскурсоводом, — сказал я.

— Скорее автоводом, — поправил меня Мартин.

— Если так, то уж автоводкой, — сказал я.

— Автоконьяком, — сказал Мартин.

— И в данном случае самое малое пятизвездочным, — снова сказал я.

— Вы просто наше созвездие и должны ехать с нами, — сказал Мартин.

Девушка, смущенная нашей болтовней, наконец объявила, что охотно поедет с нами, но ей нужно кое-что проверить и еще заскочить за купальником;

нам, дескать, придется подождать ее на том же месте, и ровно через час она придет.

Довольные, мы смотрели ей вслед; удаляясь, она прелестно вертела попкой и потряхивала черными локонами.

— Видишь ли, — сказал Мартин, — жизнь коротка. Мы должны использовать каждое мгновение.

ХВАЛА ДРУЖБЕ

А мы пока снова отправились в парк. И снова оглядывали парочки девушек, сидевших на скамейках; случалось, какая-нибудь барышня и была миловидной, но ни разу не случилось, чтобы миловидной была и ее соседка.

— В этом есть какая-то особая закономерность, — сказал я Мартину. — Уродливая женщина надеется, что ей перепадет кое-что от блеска красивой подруги, красивая же подруга надеется, что будет еще ярче блистать на фоне уродки; а для нас это существенно в том плане, что наша дружба постоянно подвергается испытанию. И я ценю именно то, что мы никогда не подчиняем наш выбор развитию событий или даже какому-то взаимному соперничеству; выбор у нас всегда — вопрос вежливости; мы уступаем друг другу более красивую девушку, подобно тем двум старомодным персонажам, которые никогда не могут войти в одну дверь, поскольку ни один из них не хочет позволить себе войти в помещение первым.

— Да, — сказал Мартин с умилением. — Ты отличный товарищ. Пошли посидим немного, ноги болят.

И мы сели на скамейку и, блаженно обратив лицо к солнцу, на какое-то время оставили без внимания все, что происходило вокруг.

ДЕВУШКА В БЕЛОМ

Вдруг Мартин выпрямился (будто подстегнутый каким-то неведомым нервным вздрогом) и метнул взгляд вверх по опустевшей аллее парка. Оттуда спускалась девочка в белом платье. Уже издали, хотя пропорции тела и черты лица были еще малоразличимы, от нее веяло каким-то особым, трудно определимым очарованием, какой-то чистотой или нежностью.

Когда девочка приблизилась, мы увидели, что она совсем юная, уже не ребенок, но еще и не девушка, и это повергло нас в состояние такого возбуждения, что Мартин вскочил со скамейки: — Барышня, я режиссер Форман, кинорежиссер; вы должны нам помочь.

Он протянул ей руку, и девочка в несказанном изумлении пожала ее.

Мартин кивнул в мою сторону и сказал: — А это мой оператор.

— Ондржичек, — сказал я, протягивая руку.

Девчушка поклонилась.

— Мы просто в отчаянном положении. Я собираюсь вести здесь натурные съемки для своего фильма; нас должен был встретить наш помощник, отлично знающий эти места, но он не приехал, и вот мы сидим тут и размышляем, как нам сориентироваться в здешнем городе и его окрестностях. И пан оператор, — пошутил Мартин, — все время роется в своей толстой немецкой книге, но, к сожалению, ничего там в этом смысле не находит.

Намек на книгу, с которой я был разлучен на целую неделю, вдруг почему-то взбесил меня: — Жаль, что вы лично мало интересуетесь этой книгой, — отбрил я своего режиссера. — Если бы вы заранее и как следует изучали материал и не вваливали все на плечи операторов, ваши фильмы, воз-

можно, были бы не так поверхностны и не отличались бы таким количеством несуразностей... Простите, — вежливо обратился я к девочке, — не станем, однако, докучать вам нашими профессиональными спорами; наш фильм ведь исторический, и в нем пойдет речь об этрусской культуре в Чехии...

— Понятно, — поклонившись, сказала девочка.

— Это весьма интересная книга, вот взгляните, — сказал я и подал девочке книгу; она взяла ее с каким-то благоговейным страхом и, уловив мое желание, полистала.

— Здесь неподалеку должен находиться замок Пхачек, — продолжал я, — это был центр чешских этрусков... Но как попасть туда?

— Это близко, — сказала девочка и вся просияла, поскольку достоверное знание дороги на Пхачек помогло ей наконец обрести хоть какую-то почву под ногами в том довольно туманном разговоре, что мы завели с ней.

— Да? Вы знаете, как попасть туда? — спросил Мартин, изображая великое облегчение.

— Само собой! — сказала девочка. — Какой-нибудь час пути!

— Пешком? — спросил Мартин.

— Ага, пешком, — сказала девочка.

— Но ведь у нас машина, — сказал я.

— Вы не хотите быть нашим экскурсоводом? — спросил Мартин, но я не стал продолжать разговор в нашем привычном ритуале подшучивания; обладая более точным психологическим чутьем, чем Мартин, я уловил, что легковесное острословие скорее навредит нам сейчас и что наше оружие в данном случае — абсолютная серьезность.

— Мы никак не хотели бы отнимать у вас время, барышня, но, если бы вы были так любезны и уделили нам минутку, чтобы показать нужные места, мы были бы вам премного благодарны за вашу помощь.

— Ну хорошо, — снова поклонившись, сказала девочка. — Охотно вам... Вот только... — Лишь сейчас мы заметили, что она держит сетку с двумя кочанами салата. — Вот только отнесу маме салат, это недалеко, и сразу вернусь...

— Конечно, салат надо отнести маме вовремя и в полной сохранности, — сказал я, — а мы с удовольствием вас здесь подождем.

— Да. Это не займет больше десяти минут, — сказала девочка и, поклонившись еще раз, с усердной торопливостью пошла прочь.

— О небо! — сказал Мартин и сел.

— Недурно, что скажешь?

— Нет слов! Ради нее я готов пожертвовать обеими медицинскими сестрами.

КОВАРНОСТЬ ИЗЛИШНЕЙ ВЕРЫ

Однако прошло десять, пятнадцать минут, но девочка не появлялась.

— Не волнуйся, — успокаивал меня Мартин, — если есть что-то точное, так это то, что она придет. Наш номер выглядел абсолютно правдоподобным, и девочка была в восторге.

Я придерживался того же мнения, и потому мы продолжали ждать эту девушку-подростка, с каждой минутой все более пылко желая ее. Между тем истек срок, назначенный для встречи с девушкой в вельветовых брюках, но наши мысли были так заняты девочкой в белом, что нам и в голову не приходило подняться со скамейки.

А время шло.

— Послушай, Мартин, пожалуй, она уже не придет, — сказал я наконец.

— Как это объяснить? Ведь девчушка верила нам, как божееству.

— Да, — сказал я, — и в этом наша беда. Все дело в том, что она нам даже слишком верила!

— Ну и что? По-твоему, лучше, если бы она нам не верила?

— Возможно, это было бы лучше. Излишняя вера — наихудший союзник.

Мысль увлекла меня, и я разговорился: — Когда веришь во что-то безусловно, в конце концов доводишь свою веру *ad absurdum*. Подлинный приверженец какой-нибудь политики никогда не принимает всерьез ее *софизмов*, а относится серьезно лишь к скрывающимся за ними практическим целям. Политические штампы и софизмы существуют не для того, чтобы в них верили; они скорее призваны служить некой *общей и заранее оговоренной уверткой*; безумцы, воспринимающие их всерьез, раньше или позже обнаруживают в них противоречия, начинают взбрыкивать и позорно кончают еретиками или отступниками. Нет, излишняя вера никогда не приносит ничего хорошего; и не только политическим или церковным системам; даже нашей системе, которая должна была помочь нам заполнить девочку.

— Я что-то перестаю тебя понимать, — сказал Мартин.

— Это вполне удобопонятно: мы были для девочки всего лишь двумя серьезными и уважаемыми господами, и она, как благовоспитанный ребенок, уступающий место в трамвае старшему, хотела нам пойти навстречу.

— Так почему же она не пошла?

— Да потому, что слишком верила нам. Она принесла мамочке салат и восторженно стала ей рассказывать о нас: об историческом фильме, об этрусках в Чехии, и мамочка...

— Так, далее мне все ясно... — оборвал меня Мартин и встал со скамейки.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Солнце, впрочем, уже медленно опускалось над крышами города; слегка похолодало, и нам стало грустно. На всякий случай мы зашли еще в кафе самообслуживания — посмотреть, не ждет ли нас там девушка в вельветовых брюках. Как бы не так! Была уже половина седьмого. Мы спустились к машине и, вдруг почувствовав себя людьми, выброшенными из чужого города и его радостей, поняли, что нам ничего не остается, как скрыться в экстерриториальном пространстве собственного автомобиля.

— Ну что ж! — сказал мне в машине Мартин. — Не делай такого похоронного вида! Нет для этого повода! Главное все-таки у нас впереди!

Я хотел было возразить, что из-за Иржины и ее «джокера» у нас для этого главного остался едва ли час времени, но смолчал.

— Впрочем, — продолжал Мартин, — день был богатый: смотрёж девушки из Траплице, кадрёж барышни в вельветовых джинсах; ведь у нас здесь все подготовлено, и пальцем шевелить не надо — в любой момент приезжай сюда, и полный восторг!

Я не стал возражать. Да, смотрёж и кадрёж были проведены на высшем уровне. Все в полном порядке. Но я тут же вспомнил, что Мартин в последний год кроме бесчисленных смотрёжей и кадрёжей ни к чему существенному так и не пришел.

Я взглянул на него. В его глазах, как обычно, сверкал огонь желанья; в эту минуту я почувствовал, что люблю Мартина, что люблю и знамя, под которым он марширует всю жизнь: знамя вечной охоты на женщин.

Спустя какое-то время Мартин сказал: — Семь часов.

Подъехав к больничным воротам, мы остановились метрах в десяти от них, причем так, что в зер-

кале заднего обзора я мог беспрепятственно видеть всех, кто оттуда выходит.

Я продолжал думать об этом знамени. А также о том, что в его охоте на женщин с каждым годом все меньше речь идет о женщинах и все больше об охоте как таковой. А поскольку речь идет о заведомо *безрезультатном* преследовании, то можно ежедневно преследовать любое множество женщин, превратив тем самым эту охоту в *охоту абсолютную*. Вот именно: Мартин попал в положение абсолютной охоты.

Мы ждали пять минут. Девушки не показывались.

Меня это ничуть не волновало. Мне было совершенно все равно, придут они или нет. Да и пришли они, разве могли бы мы за какой-нибудь час заехать с ними на отдаленную дачу, склонить их к интимным радостям, насладиться с ними любовью и в восемь часов, любезно распрощавшись, укатить домой? Как бы не так! В ту минуту, когда Мартин ограничил наши возможности восемью часами вечера, он передвинул (как уже бывало не раз) всю эту авантюру в область самообманной игры.

Прошло десять минут. У входа никто не появлялся.

Мартин разгневался и перешел едва не на крик: — Даю им еще пять минут! Больше не жду!

Мартин уже не молод, далее рассуждал я. Вполне преданно любит свою жену. Живет, собственно, самым что ни на есть нормальным браком. И вот — сверх этой реальности (и одновременно наряду с ней) в плоскости трогательно невинного самообмана продолжается молодость Мартина, беспокойная, веселая и мнимая, молодость, превращенная в пустую игру, уже не способную перешагнуть черту своего игрового поля, влиться в саму жизнь и стать реальностью. А поскольку Мартин — ослепленный рыцарь Не-

обходимости, он свои авантюры превратил в безобидную Игру, даже не сознавая того: он продолжает вкладывать в них всю свою восторженную душу.

Хорошо, сказал я себе, Мартин — пленник собственного самообмана, а что же я? Почему я помогаю ему в этой смешной игре? Почему я, зная, что все это обман, участвую в нем? Уж не смешон ли я еще более Мартина? Почему сейчас я должен изображать человека, предвкушающего любовное приключение, тогда как точно знаю: самое большее, что меня ждет, это один абсолютно бесплодный час с чужими и равнодушными девушками?

В эту минуту в зеркале заднего обзора я заметил, как в воротах больницы показались две молодые женщины. И на расстоянии было видно, как они напудрены, напомажены и вызывающе элегантны; их задержка, вероятно, и была вызвана старательной работой над своей внешностью. Оглядевшись, они направились к нашему автомобилю.

— Мартин, ничего не поделаешь, — сказал я, опередив девушек. — Четверть часа прошло. Едем. — И я нажал на газ.

РАСКАЯНИЕ

Выехав из Б. и миновав последние домики, мы очутились в краю полей и перелесков; на гребни гор садилось большое солнце.

Мы ехали молча.

Я думал об Иуде Искарите, о котором один остроумный автор говорит: он предал Иисуса именно потому, что безгранично верил в него: он не мог дожидаться чуда, которым бы Иисус явил всем иудеям свою божественную силу; он выдал Иисуса страже, чтобы наконец побудить его к действию; он предал его, ибо мечтал ускорить его победу.

Увы, подумалось мне, я, напротив, предал Мартина именно потому, что перестал верить в него (и в божественную силу его донжуанства); я есть подлое сочетание Иуды Искарота и Фомы, прозванного Неверующим. И тут я почувствовал, что благодаря моей провинности во мне растет нежность к Мартину и его знамя вечной охоты (слышно было, как оно неустанно трепещет над нами) трогает меня до слез. Я стал корить себя за свой поспешный поступок.

А разве мне самому легко будет расстаться с этими телодвижениями, означающими для меня молодость? И останется ли у меня что-то еще, если я перестану хотя бы имитировать ее и пытаться обрести в своей разумной жизни безопасный уголок для этой неразумной деятельности? Что из того, что все это напрасная игра? Что из того, что я это *знаю*? Разве я откажусь от этой игры лишь потому, что она напрасна?

ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО ВЕЧНОГО ЖЕЛАНИЯ

Он сидел рядом и, преодолевая досаду, медленно приходил в себя.

— Послушай, — сказал он мне. — Эта медичка действительно такого высокого класса?

— Я же сказал. На уровне твоей Иржины.

Мартин стал осыпая меня вопросами. Мне снова пришлось описывать медичку.

Чуть погодя Мартин спросил: — А не мог бы ты мне ее потом уступить, а?

Я решил дать более правдоподобный ответ: — Это, пожалуй, будет трудно. Ей мешало бы, что ты мой товарищ. Она строгих правил...

— Она строгих правил... — сказал Мартин грустно, и видно было, что это его печалило.

Мне уже расхотелось мучить его.

— Если только я скрою, что мы знакомы, — сказал я. — Ты мог бы выдать себя за кого-нибудь другого.

— Классно! Хотя бы за Формана, как сегодня.

— Нет, киношников она не жалует. Скорее клюет на спортсменов.

— Ну и что? — сказал Мартин. — Все в наших руках, — и вот мы уже пустились в пылкие дебаты. С каждой минутой наш план прояснялся все больше и вскоре подпрыгивал перед нами в густеющих сумерках, как прекрасное, зрелое, сверкающее яблоко.

Позвольте же мне это яблоко несколько напыщенно назвать золотым яблоком вечного желания.

ЛОЖНЫЙ АВТОСТОП

1

Стрелка указателя топлива вдруг приблизилась к нулю, и молодой водитель двухместной легковушки подсадовал: черт знает сколько жрет эта машина! «Только бы не застрять без бензина», — сказала девушка (лет двадцати двух) и на карте показала водителю несколько мест, где такое с ними уже случилось. Молодой человек ответил, что он не забивает себе голову подобными пустяками, так как любое событие, пережитое вместе с ней, таит в себе прелесть приключения. Девушка не согласилась; поскольку бензин кончался у них посреди пути, это всегда становилось приключением только для нее; молодой человек оставался в тени, а она вынуждена была пускаться в ход свое обаяние: голосовать, просить подвезти ее к ближайшей заправке, потом снова ловить машину и возвращаться с канистрой обратно. Молодой человек спросил, были ли подвозившие ее водители настолько неприятны, что у нее есть повод говорить о своей задаче как о каком-то унижении? Девушка ответила (с неловким кокетством), что иногда они бывали даже очень приятными, но что из этого могло выйти, если она, обремененная канистрой, должна была расставаться с ними раньше, чем успевала что-то начать. «Дрянь», — сказал молодой человек. Девушка заявила, что дрянь не она, а он; ведь не счесть тех

девушек, что останавливают его на шоссе, когда он едет один! Молодой человек, не сбавляя скорости, привлек ее за плечи к себе и поцеловал в лоб. Он знал, что она любит его и ревнует. Ревность, конечно, свойство не из приятных, но если не злоупотреблять ею (да еще сочетать со скромностью), она содержит в себе не только неудобство, но и нечто трогательное. По крайней мере молодой человек думал именно так. А поскольку ему было всего двадцать восемь от роду, он полагал, что уже стар и познал все, что только может познать мужчина с женщинами. В девушке, сидевшей рядом, он ценил как раз то, что до сих пор встречал в женщинах реже всего: чистоту.

Стрелка была уже на нуле, когда молодой человек заметил справа указатель (черный знак бензоколонки), что автозаправка всего лишь в пятистах метрах. Девушка едва успела выговорить, что у нее с души упал камень, как молодой человек, включив левый поворот, уже въезжал на площадку перед колонками. Но остановился он с краю, так как там стоял огромный грузовик с большой жестяной цистерной, поивший бензином через толстую кишку красную башенку колонки. «Подождем, — сказал молодой человек девушке и вышел из машины. — Это надолго?» — спросил он паренька в рабочей спецовке. «Одну минуту», — ответил паренек, а молодой человек сказал: «Знаю я эту минуту». Он хотел было сесть в машину, но девушка уже успела выйти из нее с другой стороны. «Я пока отлучусь», — сказала она. «Куда?» — нарочно спросил молодой человек, желая увидеть смущение девушки. Он знаком был с ней уже целый год, но она все еще продолжала стесняться его, и мгновения ее стыда он очень любил; с одной стороны, потому, что это отличало ее от женщин, с которыми он встречался до нее, с другой — потому, что ему известен был закон всеобщей быстротечности, делающий драгоценными даже мгновения стыда его девушки.

В самом деле, девушка не любила, когда ей приходилось во время пути (молодой человек, случалось, ездил без перерыва часами) просить его ненадолго притормозить где-нибудь у перелеска. Она всегда сердилась на него, когда он с наигранным удивлением спрашивал, почему ему надо притормаживать. Она понимала, что ее стыд смешон и старомоден. Она и на работе не раз убеждалась, что люди, зная ее щепетильность, смеются над ней и нарочно провоцируют. Она уже заранее стыдилась того, что ей придется стыдиться. Как часто хотелось ей уметь чувствовать себя раскованной, беспечной и бесстрашной, как это умеет большинство окружающих ее женщин. Она занялась даже особым воспитательным самовнушением, без конца повторяя себе, что каждый человек при рождении получает одно из миллионов уже заранее заготовленных тел, как если бы получал закрепленное за ним одно из миллионов помещений в необъятной гостинице; что тем самым тело случайно и безлично; что это лишь взятая напрокат конфекционная вещь. Она и так и сяк убеждала себя в этом, но чувствовать так не умела. Раздвоенность тела и души была ей чужда. Она слишком ощущала себя телом и потому всегда воспринимала его с опаской.

С такой же опаской она относилась и к молодому человеку, с которым познакомилась год назад и была счастлива именно потому, что он никогда не отделял ее тела от души и она могла жить с ним целиком... В этой нераздвоенности было счастье, однако счастье тут же омрачалось переполнявшими ее подозрениями. Часто, например, к ней приходила мысль, что другие женщины (те, бесстрашные) более притягательны и обольстительны и что молодой человек, не скрывавший, что ему хорошо знаком этот тип, однажды покинет ее ради такой женщины. (Пусть даже молодой

человек и убеждал ее, что такими женщинами он пресытился до конца жизни, она-то знала, что по сути он гораздо моложе, чем считает себя.) Ей хотелось, чтобы он целиком принадлежал ей, а она — целиком ему, но ей часто казалось, что, чем больше она старается дать ему, тем больше что-то у него отнимает: именно то, что дает человеку любовь неглубокая и поверхностная, что дает ему флирт. Будучи существом серьезным, она страдала оттого, что не умеет быть порой и несерьезной.

Но на этот раз она не страдала и вообще ни о чем таком не задумывалась. Ей было хорошо. Шел первый день их совместного отпуска (двухнедельного отпуска, о котором она сосредоточенно думала целый год), было голубое небо (целый год она ужасалась при мысли, что голубого неба может не быть), и с нею был он. Его вопрос «куда?» вогнал ее в краску, и она, ничего не ответив, отбежала от машины. Обошла автозаправочную станцию, уединенно стоявшую на обочине шоссе среди полей; в сотне метров оттуда (в направлении их дальнейшего пути) простирался лес. Подойдя к нему, она скрылась в кустарнике, все это время не переставая лелеять в себе чувство умиротворенности. (Ведь и радость присутствия любимого мужчины лучше всего ощущаешь в уединении. Будь это присутствие непрерывным, оно по существу присутствовало бы лишь своей неустанной быстротечностью. Удержать его возможно только в минуты одиночества.)

Она вышла из леса на шоссе; оттуда была видна станция; грузовик с цистерной уже отъезжал, легковушка продвинулась к красной башенке бензоколонки. Девушка двинулась по шоссе вперед, временами оглядываясь, не едет ли за ней следом машина. Наконец увидев ее, стала махать ей так, как машут проезжающей машине автостопщики. Легковушка стала притормаживать и остановилась возле девушки. Молодой

человек, наклонившись к окошку, опустил стекло и с улыбкой спросил: «Вам куда, барышня?» — «Вы случайно не в Бистрицу?» — спросила девушка, кокетливо улыбаясь ему. — «Прошу садиться». — Молодой человек открыл дверцу. Девушка села, и машина тронулась.

3

Молодой человек всегда радовался, когда его девушка бывала в хорошем настроении; случалось это не часто: трудная работа, нервная обстановка, много сверхурочных часов без надлежащего отдыха, дома больная мать — все это утомляло ее; не отличаясь ни крепкими нервами, ни уверенностью в себе, она нередко поддавала под власть тревог и страхов. Поэтому любое проявление ее веселости он умел приветствовать с нежной заботливостью воспитателя. Улыбнувшись ей, он сказал: — Мне сегодня везет. Вожу машину уже пять лет, но такую красивую попутчицу подсаживаю впервые.

Девушка была благодарна молодому человеку за каждый комплимент; хотелось немножко понежиться в его тепле, и потому она сказала: — Вы отлично умеете лгать!

— Я что, похож на лгуна?

— Вы похожи на человека, который любит лгать женщинам, — сказала девушка, и в ее словах невольно прозвучала прежняя тревога, поскольку она и вправду верила, что ее молодой человек не прочь солгать женщине.

Ревность девушки порой начинала раздражать молодого человека, но на этот раз он мог легко не заметить ее, ибо фраза относилась все-таки не к нему, а к незнакомому водителю. И потому он задал вполне банальный вопрос: — Вам это неприятно?

— Будь я с вами в близких отношениях, мне было бы неприятно, — сказала девушка, и это был деликатный урок, преподанный молодому человеку. — Но вы чужой человек, и это меня не волнует.

— В близком человеке женщине мешает гораздо больше вещей, чем в постороннем (это опять-таки был деликатный урок, преподанный девушке молодым человеком), но мы с вами, как люди чужие, могли бы отлично понять друг друга.

Девушка, преднамеренно не желая понимать этот педагогический намек, тотчас обратилась исключительно к незнакомому водителю: — Какой в этом смысл, если через минуту мы разойдемся?

— Почему? — спросил молодой человек.

— Да потому что в Бистрице я выйду.

— А если я выйду вместе с вами?

После этих слов девушка посмотрела на молодого человека и обнаружила, что сейчас он выглядит именно таким, каким она представляет его в самые томительные минуты ревности; она ужаснулась тому, как он премило кокетничает с ней (с незнакомой попутчицей) и как это к лицу ему. Она спросила его со строптивым вызовом: — Интересно, что бы вы со мной делали?

— Над тем, что делать с такой красоткой, я особенно бы не задумывался, — галантно сказал молодой человек, обращаясь сейчас скорее к своей девушке, чем к незнакомой попутчице.

Но у девушки вдруг возникло ощущение, будто на этой лести она поймала его с поличным, будто с помощью какого-то хитрого трюка выудила из него признание; внезапно проникшись острой ненавистью к нему, она сказала: — Не слишком ли много вы на себя берете?

Молодой человек посмотрел на девушку; ее строптивное лицо, казалось, было искажено судорогой; он почувствовал к ней жалость и затосковал по ее зна-

комому, привычному взгляду (он казался ему детским и простодушным); склонившись к ней, он обнял ее за плечи и тихо произнес имя, которым обычно называл ее и которым хотел оборвать игру.

Но девушка увернулась и сказала: — Умерьте свой пыл!

Отвергнутый молодой человек сказал: — Простите, барышня, — и молча устоялся на дороге.

4

Впрочем, горестная ревность покинула девушку так же быстро, как и пронизала ее. Она была все-таки благоразумной и понимала, что это просто игра; теперь ей стало даже немного смешно, что она оттолкнула любимого, поддавшись своей ревнивой злобе; не хотелось, чтобы он почувствовал это. По счастью, она обладала удивительной способностью задним числом переосмысливать свои поступки; эта способность помогла ей заключить, что оттолкнула она его не по злобе, а лишь для того, чтобы продолжать игру, которая своей причудливостью так под стать первому дню отпуска.

Она вновь стала попутчицей, только что оттолкнувшей назойливого водителя лишь для того, чтобы оттянуть результат обольщения и придать ему большую остроту. Повернувшись к молодому человеку, она ласково сказала:

— Я не хотела обидеть вас, пан!

— Простите меня, больше я не дотронусь до вас, — сказал молодой человек.

Он рассердился на девушку, не пожелавшую принять его предложение прекратить игру и снова стать самой собой; а когда она продолжала настаивать на своем маскараде, молодой человек перенес злость уже на незнакомую играемую ею автостопщицу и тут

вдруг открыл характер своей роли: он прекратил говорить комплименты, которыми косвенно пытался польстить своей девушке, а стал изображать крутого парня, обращенного к женщинам грубыми сторонами своей мужественности: волей, сарказмом, самонадеянностью.

Эта роль была начисто противоположна той заботливости, с какой молодой человек относился к девушке. До его знакомства с нею он и вправду вел себя с женщинами скорее дерзко, чем мягко, но на демонически крутого парня не походил вовсе, не отличаясь ни силой воли, ни развязностью. Однако, не походя на него, он тем не менее с давних пор мечтал на него походить. Конечно, мечта эта довольно наивная, но ничего не попишешь: ребяческие мечты пересиливают все приманки зрелого духа и часто сопровождают человека до самой старости. И эта ребяческая мечта не замедлила воплотиться в предложенную роль.

Саркастическая сдержанность молодого человека пришла к девушке весьма впору: это освобождало ее от самой себя. А она сама — это прежде всего ревность. В ту минуту, когда рядом с собой она перестала видеть в молодом человеке галантного соблазнителя, а узрела его неприступное лицо, ревность ее успокоилась. Девушка смогла забыть о себе и отдаться своей роли.

Своей роли? Какой же? Это была роль из дешевого романа. Автостопщица остановила машину не для того, чтобы ехать, а чтобы соблазнить мужчину, который ехал в машине; это была ловкая оболыстительница, умело играющая своими прелестями. Девушка перевоплотилась в этот дурацкий романский персонаж с легкостью, которая ее самое сразу же удивила и очаровала.

Так они и ехали; чужой водитель и чужая автостопщица.

Более всего в жизни молодому человеку не доставало беззаботности. Его жизненный путь был начертан с жесткой точностью: служба не ограничивалась лишь восемью часами в день, она просачивалась и в остальное время непреложной скукой собраний и работой дома; просачивалась она и вторжением бесчисленных сотрудников и сотрудниц в его небогатую досугом личную жизнь, которая отнюдь не оставалась тайной и не раз делалась предметом пересудов и публичного разбирательства. Даже две недели отпуска не вызвали в нем чувства освобождения и приключенчества; и на них легла серая тень точного планирования; нехватка летнего жилья вынудила его еще за полгода заказать номер в Татрах, обзаведясь для этого необходимым ходатайством заводского комитета своего предприятия, ни на минуту не спускавшего с него своего недреманного ока.

Он со всем этим смирился, но иногда перед ним предстával ужасный образ дороги, по которой гонят его, где все его видят, с которой он не может свернуть. Этот образ возник перед ним и сейчас; странным коротким совмещением дорога воображаемая отождествилась с реальной дорогой, по которой он ехал, — и это толкнуло его на неожиданный безрассудный шаг.

— Куда, вы сказали, вам надо? — спросил он девушку.

— В Банскую Бистрицу, — ответила она.

— А что вы там собираетесь делать?

— У меня там встреча.

— С кем же, скажите?

— С одним человеком.

Машина как раз подъезжала к большому перекрестку; водитель сбавил скорость, чтобы успеть прочесть дорожные указатели; затем свернул направо.

— А что случится, если вы не придете на эту встречу?

— Это будет на вашей совести, вам придется позаботиться обо мне.

— Вы, пожалуй, не заметили, что я свернул на Новые Замки.

— Правда? Вы сошли с ума!

— Не волнуйтесь, я позабочусь о вас, — сказал молодой человек.

Игра тотчас достигла высочайшего напряжения. Машина удалялась не только от воображаемой цели — Банской Бистрицы, но и от реальной цели, к которой направилась утром: от Татр и заказанного там номера. Игровая жизнь внезапно атаковала жизнь настоящую. Молодой человек удалялся от самого себя и от своей точной дороги, с которой до сих пор никогда никуда не сворачивал.

— Но ведь вы сказали, что едете в Низкие Татры! — удивилась девушка.

— Я еду, барышня, куда мне вздумается. Я свободный человек и делаю то, что хочу и что мне нравится.

6

Когда они доехали до Новых Замков, уже стало смеркаться.

Молодой человек здесь никогда не был и не сразу сориентировался. Пришлось останавливать машину и расспрашивать прохожих, как проехать к гостинице. Хотя гостиница и была совсем близко (по утверждению всех опрошенных), путь к ней лежал через множество раскопанных улиц и осложнялся столькими поворотами и объездами, что прошло не менее четверти часа, пока они добрались до цели. Гостиница имела неприглядный вид, но была един-

ственной в городе, а ехать дальше молодому человеку не хотелось. Бросив девушке: «Подождите», он вышел из машины.

А выйдя, он, естественно, снова стал самим собой. И почувствовал ужасную досаду, что под вечер очутился совсем не там, где рассчитывал; и досада была тем сильнее, что его никто не принуждал к этому, да он и сам, собственно, об этом не помышлял. Он стал упрекать себя в безрассудстве, но потом махнул рукой: номер в Татрах до завтра подождет, и ничего страшного не случится, если он отметит первый день отпуска каким-то непредвиденным приключением.

Он прошел через ресторан — задымленный, битком набитый, шумный — и спросил, где бюро обслуживания. Его направили к черной лестнице, где за стеклянной дверью, под увешанной ключами доской, сидела увядшая блондинка; не без сложностей он получил ключ от единственного свободного номера.

И девушка, оставшись одна в машине, вышла из своей роли. Но очутившись в неожиданном месте, она не испытывала досады. Была настолько предана молодому человеку, что никогда не сомневалась в его поступках и с полным доверием отдавала ему часы своей жизни. И тут вдруг снова вспыхнула мысль, что, возможно, именно так, как она сейчас, ждут его в этой машине другие женщины, с которыми он встречается в своих служебных поездках. Но, как ни странно, на сей раз этот образ совсем не причинил ей боли; напротив, эта мысль тотчас вызвала у нее улыбку: как прекрасно, что сейчас этой чужой женщиной является именно она; этой чужой, беспечной и непристойной женщиной, одной из тех, к кому она так ревновала; ей казалось, что тем самым она их всех оставляет с носом; что она додумалась до того, как овладеть их оружием, как дать молодому человеку то, что до сих пор дать ему не умела: легкость,

бесстыдство и раскованность; ее переполнило острое чувство удовлетворения, что она единственная способна быть всеми женщинами сразу и своего любимого вот так целиком (она единственная) может увлечь и поглотить.

Молодой человек открыл дверцу машины и повел девушку в ресторан. Посреди шума, грязи и дыма он нашел единственный свободный столик в углу.

7

— Каким же образом вы теперь обо мне позаботитесь? — спросила девушка вызывающе.

— Что вы предпочитаете в качестве аперитива? Девушка не была приучена к крепким напиткам; разве что пила вино, и еще ей нравился вермут. Но на этот раз она намеренно сказала:

— Водку.

— Отлично, — сказал молодой человек. — Надеюсь, вы не слишком опьянеете.

— А если бы и так? — спросила девушка.

Не ответив, молодой человек, подзвав официанта, заказал две водки и бифштексы на ужин. Официант тут же принес на подносе две рюмки водки и поставил их на стол.

Молодой человек поднял рюмку и сказал: — За вас!

— Более оригинальный тост не приходит вам в голову?

В игре девушки было что-то начинавшее раздражать молодого человека; сейчас, когда он сидел с ней лицом к лицу, он понял, что это не только слова, превращавшие ее в кого-то постороннего, но она вся изменилась, изменилась в жестах, мимике и стала неприятно походить на тот тип женщин, к которым он испытывал легкое отвращение.

И он (держа рюмку в поднятой руке) откорректировал свой тост: — Хорошо, стало быть, пью не за вас, а за вашу породу, в которой так удачно сочетается лучшее от животного и худшее от человека.

— Под этой породой вы подразумеваете всех женщин? — спросила девушка.

— Нет, я подразумеваю лишь тех, что похожи на вас.

— И все-таки мне кажется не очень остроумным сравнивать женщину с животным.

— Хорошо, — согласился молодой человек, все еще держа рюмку поднятой, — тогда пью не за вашу породу, а за вашу душу, согласны? За вашу душу, которая излучает свет, спускаясь из головы в живот, и гаснет, снова поднимаясь в голову.

Подняв рюмку, девушка сказала: — Итак, за мою душу, которая спускается в живот.

— Еще раз оговорюсь, — заметил молодой человек, — лучше просто за ваш живот, в который спускается ваша душа.

— За мой живот, — сказала девушка, и ее живот (коль уж был сейчас так определенно назван) будто отвечал на призыв: она ощущала каждый миллиметр его кожи.

Официант принес бифштексы, молодой человек заказал еще водки с содовой (на сей раз выпили за грудь девушки), и разговор продолжался в удивительно фривольном тоне. Молодого человека все больше раздражало умение девушки выглядеть дешевой; если это ей так хорошо удается, подумал он, значит, она такая и есть; не вошла же в нее какая-то чужая душа откуда-то извне; то, что она здесь изображает, и есть она сама; возможно, это та часть ее существа, что в иное время заперта на замок, а сейчас условиями игры выпущена из клетки; девушка, возможно, думает, что игрой она отрицает самое себя; но не наоборот ли это? Не стала ли она именно

в игре самой собой? Не раскрепостилась ли она в игре? Нет, напротив него сидит не чужая женщина в обличье его девушки; это именно его девушка, она сама, и никто другой. Он смотрел на нее и чувствовал растущее к ней отвращение.

Но это было не просто отвращение. Чем больше девушка отдалялась от него *духовно*, тем сильнее он вождедел ее *телесно*; чуждость души заострила особенность девичьего тела; она, по сути, только сейчас и сделала это тело телом; до сих пор оно существовало для молодого человека в заоблачных сферах сострадания, нежности, заботливости, любви и умиления; оно словно было затеряно в этих сферах (да, тело было словно *затеряно!*). Молодому человеку казалось, что сегодня он впервые *видит* ее тело.

После третьей рюмки водки девушка поднялась и кокетливо сказала: — Пардон.

— Позвольте спросить вас, барышня, куда вы идете?

— Пописать, если вам угодно, — ответила девушка и стала меж столов пробираться в конец зала к плюшевой занавеске.

8

Она была довольна, что так огорошила молодого человека словом, какого — несмотря на его невинность — никогда не произносила вслух; ничто не представлялось ей лучшим, более выразительным воплощением женщины, которую она играла, чем кокетливое ударение, сделанное на упомянутом слове; да, она была довольна, была в превосходном настроении; игра увлекала ее; давала ей возможность ощутить то, чего она до сих пор не ощущала: хотя бы *чувство беспечной безответственности*.

Она, всегда опасавшаяся каждого своего последующего шага, вдруг ощутила себя абсолютно раскованной. Чужая жизнь, посреди которой она оказалась, была жизнью без стыда, без биографических примет, без прошлого и будущего, без обязательств; это была жизнь несказанно свободная. Девушка на правах автостопщицы могла все, ей было дозволено все: что угодно говорить, что угодно делать, что угодно чувствовать.

Она шла по залу и ощущала на себе взгляды всех сидящих за столиками; это было новое, неведомое до сих пор чувство: *неприличная радость, даруемая телом*. Она все еще не могла до конца изжить в себе ту четырнадцатилетнюю девочку, что стыдится своих груди и испытывает чувство мучительной неловкости, что они так заметно выдаются на теле. Хотя она и гордилась тем, что красива и хорошего роста, эту гордость сразу же осаживал стыд: она отлично осознавала, что в женской красоте прежде всего заложен сексуальный призыв, и это тяготило ее; хотелось, чтобы ее тело было обращено только к тому человеку, которого она любит; когда мужчины на улице глазели на ее грудь, ей казалось, что тем самым они опустошают и уголок сокровеннейшей жизни, принадлежащей только ей и ее любимому. Но сейчас она была автостопщицей, женщиной без судьбы; освободившись от нежных пут своей любви, она стала остро осознавать свое тело; и оно тем сильнее возбуждало ее, чем чужероднее были глаза, его пожиравшие.

Она почти миновала последний столик, когда подвыпивший мужичок, желая щегольнуть своей галантностью, обратился к ней по-французски: — *Combien, mademoiselle?*¹

Девушка поняла. Она выпрямилась и, взволнованно ощущая каждое движение своих бедер, скрылась за плюшевой занавеской.

¹ Сколько, мадемуазель? (фр.)

Это была странная игра. Ее странность заключалась, например, в том, что молодой человек, хотя и сам перевоплотился в неизвестного водителя, не переставал видеть в автостопщице свою девушку. Именно это и было мучительным; он видел свою девушку, соблазняющую постороннего мужчину, и обладал горьким преимуществом своего присутствия при этом; видеть вблизи, как она выглядит и что говорит, когда обманывает его (когда обманывала, когда будет обманывать); он имел редкостную честь быть тем, с кем она ему изменяет.

И это было тем тяжелее, что он больше боготворил ее, чем любил; ему всегда казалось, что ее существо *реально* лишь в границах верности и чистоты и что за этими границами ее просто не существует; что за этими границами она перестает быть самой собой, как вода перестает быть водой за точкой кипения. И сейчас, видя, как она с естественной элегантною переступает эту чудовищную черту, он переполнялся гневом.

Вернувшись из туалета, девушка пожаловалась: — Какой-то парень крикнул мне там: «Combien, mademoiselle?»

— Чему удивляться, — сказал молодой человек, — вы ведь похожи на шлюху.

— Представьте себе, меня это совершенно не трогает.

— Зря вы не пошли с этим типом!

— Но я все-таки с вами.

— Вы можете пойти с ним после меня. Договоритесь.

— Он не в моем вкусе.

— Но в принципе вы, как вижу, не против того, чтобы за ночь быть с несколькими мужчинами.

— А почему бы и нет, если они недурны собой.

— Вы предпочитаете быть с ними поочередно или одновременно?

— По-разному, — ответила девушка.

Разговор увязал во все больших нелепостях; это слегка коробило девушку, но она не могла протестовать. И в игре для нас таится несвобода; и игра — ловушка для игрока; не будь это игрой и сиди здесь действительно двое чужих людей, автостопщица могла бы давно оскорбиться и уйти; но из игры не уйдешь; команда до конца игры не может покинуть поле, шахматные фигуры не могут сбежать с шахматной доски, границы игровой площадки непреодолимы. Девушка знала, что должна принять любую игру только потому, что это игра. Она знала: чем острее будет игра, тем больше станет игрой и тем покорнее придется в нее играть. И незачем было призывать разум и убеждать сумасбродную душу держаться в стороне от игры и не принимать ее всерьез. Именно потому, что это была всего лишь игра, душа не тревожилась, не противилась и опьяненно отдавалась ей.

Молодой человек подозвал официанта и расплатился. Затем встал и сказал девушке: — Можем идти.

— Куда? — наигранно удивляясь, спросила девушка.

— Не спрашивай и топай, — сказал молодой человек.

— Как вы со мной разговариваете?

— Как со шлюхой, — сказал он...

10

Они шли по едва освещенной лестнице, на площадке перед вторым этажом у туалета стояла группка подвыпивших мужчин. Молодой человек, обхватив девушку сзади, стиснул ладонями ее грудь. Мужчины у туалета, увидев это, стали одобрительно покри-

кивать. Девушка попыталась освободиться, но молодой человек рявкнул: «Не дергайся ты!». Мужчины, выразив ему свою хамскую солидарность, отпустили в адрес девушки несколько непристойностей. Молодой человек, поднявшись с девушкой на второй этаж, открыл дверь в номер. Включил свет.

Это был узкий номер с двумя кроватями, столиком, двумя стульями и умывальником. Заперев дверь, молодой человек повернулся к девушке. Она стояла против него в вызывающей позе, во взоре — дерзкая чувственность. Он смотрел на нее и пытался за этим непристойным выражением обнаружить знакомые, нежно любимые девичьи черты. Было так, как будто он смотрел в бинокль, — на два образа, смещенных и просвечивающих один сквозь другой. Эти два просвечивающих образа подсказывали ему, что в девушке есть все, что душа ее ужасно аморфна, что в ней уживаются верность и измена, предательство и невинность, кокетство и целомудрие; это диковинное месиво представлялось ему отвратительным, как пестрота свалки. Образы просвечивали один сквозь другой, и молодому человеку стало понятно, что девушка лишь с виду отличается от других, но в глубинных просторах души она такая же, как и прочие женщины: полна всеми возможными мыслями, чувствами, пороками, оправдывающими его тайные сомнения и ревности; что трогательный очерк, оттеняющий ее своеобразие, всего лишь обман, в который вовлечен другой — тот, кто смотрит, он. Ему казалось, что девушка, которую он так любил, была лишь созданием его мечты, его абстрактной идеи, его доверия, а настоящая девушка стоит сейчас перед ним, и она безнадежно чужая, безнадежно другая, безнадежно многоликая. Он ненавидел ее.

— Чего ты ждешь? Раздевайся, — сказал он.

Девушка, кокетливо склонив голову, спросила: — А это обязательно?

Тон, каким она произнесла это, показался ему очень знакомым, похоже было, будто когда-то давно он слышал это от другой женщины, однако от какой не помнил. Он жаждал унижить ее. Не автостопщицу, нет, — собственную девушку. Игра слилась с жизнью воедино. Игра в унижение автостопщицы стала лишь предлогом для унижения его девушки. Молодой человек забыл об игре. Он просто ненавидел женщину, стоявшую перед ним. Не сводя с нее глаз, он выгащил из бумажника пятьдесят крон и протянул их девушке: — Достаточно?

Взяв купюру, девушка сказала: — Не очень-то высоко вы меня ставите.

— Большого ты не стоишь.

Девушка прикинула к молодому человеку: — Так нельзя со мной! Надо как-то по-другому, хоть чуточку постарайся!

Она обнимала его, пытаясь прильнуть губами к его губам. Но он положил ей на губы пальцы и, мягко оттолкнув, сказал: — Я целуюсь только с женщинами, которых люблю.

— А меня ты не любишь?

— Нет.

— А кого ты любишь?

— Это тебя не касается. Раздевайся.

11

Она никогда так не раздевалась. Робость, ощущение внутренней тревоги, безрассудство — все то, что она всегда чувствовала, раздеваясь перед молодым человеком (и не будучи защищенной темнотой), все это исчезло. Она стояла перед ним на свету, самоуверенная, дерзкая, и удивлялась, откуда вдруг взялись неведомые ей дотоле жесты медленного, дразнящего раздевания. Ощущая на себе его взгля-

ды, она нежно откладывала в сторону каждый предмет туалета и смаковала все этапы своего обнажения.

Но в ту минуту, когда она предстала перед ним совершенно нагой, в голове мелькнула мысль, что теперь-то уж точно всякая игра кончается; вместе с платьем она сняла и притворство, и теперь она совсем голая, а значит, стала наконец самой собой, и молодой человек должен подойти к ней и сделать жест, которым сотрет все и за которым последует лишь их сокровеннейшая любовь. Да, она стояла перед молодым человеком нагая, перестав в эту минуту играть; стояла растерянная, и на лице ее появилась улыбка, которая и вправду принадлежала только ей: робкая и смущенная.

Однако молодой человек не подошел к ней и не стер игры. Не заметил он и этой доверительно знакомой улыбки; он видел перед собой лишь чужое красивое тело своей девушки, которую сейчас ненавидел. Ненависть смыла с его похотливости всякий налет чувства. Она попыталась было подойти к нему, но он сказал: «Стой там, где стоишь, я хочу тебя хорошо видеть». Молодой человек желал сейчас лишь одного: обращаться с ней как с продажной девкой. Но он никогда не имел ничего общего ни с одной продажной девкой, и представление о них составилось у него лишь по литературе и чьим-то рассказам. Воскресив в памяти эти образы, он первым делом увидел там женщину в черном белье (и черных чулках), танцующую на блестящей крышке рояля. В гостиничном номере рояля не было, был только небольшой столик, приставленный к стене и покрытый полотняной скатертью. Он приказал девушке влезть на него. Девушка сделала просительный жест, но молодой человек сказал: — Тебе заплачено.

Увидев в глазах молодого человека неумное бешенство, она попыталась продолжить игру, хотя силы были на исходе. Со слезами на глазах она забралась

на стол. Квадратная доска была не больше метра, и одна ножка — чуть короче других; стоя на столе, девушка с трудом сохраняла равновесие.

Но молодой человек получал удовольствие от вида возвышавшейся над ним голой фигуры, а стыдливая неуверенность девушки лишь разжигала его властолюбие. Это тело ему хотелось видеть во всех положениях, со всех сторон, таким, каким его видели, в его воображении, и будут видеть другие мужчины. Он был груб и циничен. Он говорил ей слова, которых она от него ни разу не слышала. Она хотела воспротивиться, хотела выйти из игры, обратилась к нему по имени, но он тут же крикнул ей, что у нее нет права называть его так доверительно. И наконец она, в растерянности и обливаясь невидимыми слезами, подчинилась желаниям молодого человека: стала нагибаться, приседать на корточки, отдавать честь и крутить бедрами, изображая твист; при каком-то более резком движении скатерть соскользнула из-под ее ног, и она чуть было не упала на пол. Молодой человек подхватил ее и бросил на кровать.

Он слился с ней. Она обрадовалась в надежде, что хотя бы сейчас кончится эта злополучная игра. И они снова станут теми двумя, какими были прежде и любили друг друга. Она хотела прильнуть к нему губами, но молодой человек отстранился и повторил, что целуется лишь с теми женщинами, которых любит. Она громко расплакалась. Но даже плакать ей было не дозволено: неистовая страсть молодого человека постепенно завладевала ее телом, и оно в конце концов заглушило вопль ее души. Вскоре на ложе были два слившихся воедино тела, сладострастных и чужих друг другу. Сейчас совершалось как раз то, чего девушка боялась больше всего на свете и старательно избегала: телесной близости без чувства и без любви. Она знала, что переступила запретную черту, но продолжала двигаться без всяких оговорок

и с полной отдачей; лишь где-то далеко в уголке сознания она ужасалась тому, что никогда еще не испытывала такого наслаждения и стольких оргазмов, как именно сейчас — за этой чертой.

12

Потом все кончилось. Молодой человек, приподнявшись, потянулся к длинному шнуру, висевшему над кроватью, выключил свет. Неприятно было видеть лицо девушки. Он знал, что игра кончилась, но возвращаться к своим привычным отношениям с девушкой ему не хотелось; он боялся этого возвращения. Теперь он лежал в темноте рядом с ней, лежал так, чтобы их тела не соприкасались.

Спустя некоторое время он услышал тихие всхлипы; рука девушки робко, по-детски коснулась его руки, опустилась, снова коснулась, а потом раздался умоляющий, всхлипывающий голос, который, ласково назвав его по имени, произнес: — Я это я, я это я...

Молодой человек молчал и, не двигаясь, старался постичь печальную бессодержательность ее утверждения, в котором неизвестное определялось тем же неизвестным.

А девушка, вскоре перейдя от всхлипывания к громкому плачу, повторяла эту трогательную тавтологию еще бесчисленное число раз: — Я это я, я это я, я это я...

Молодой человек стал призывать на помощь сочувствие (пришлось звать его из далекого далека, ибо поблизости нигде его не было), чтобы утешить девушку. Впереди у них было еще тринадцать дней отпуска.

СИМПОЗИУМ

ПЕРВЫЙ АКТ

ОРДИНАТОРСКАЯ

Ординаторская (некоего отделения некоей больницы некоего города) свела вместе пятерых действующих лиц и переплела их поступки и речи в нелепую, но тем более забавную историю.

Сейчас в комнате доктор Гавел и медсестра Алжбета (оба на ночном дежурстве), но здесь и другие медики (под каким-то едва ли серьезным предлогом они зашли сюда посидеть с дежурными и распить с ними несколько принесенных бутылок вина): лысоватый главврач того же отделения и хорошенькая тридцатилетняя докторша из другого отделения, о которой вся больница знает, что она спит с шефом.

(Главврач, разумеется, женат и только что изрек свою излюбленную фразу, которая должна была свидетельствовать не только о его остроумии, но и о его намерениях: «Дорогие коллеги, большего несчастья, чем счастливый брак, быть не может, ибо у вас нет ни малейшей надежды на развод».)

Кроме названных четырех персонажей есть здесь и пятый, но, по сути, его здесь нет: как самого молодого, его только что отправили за новой бутылкой. Здесь есть еще и окно, примечательное тем, что оно распахнуто и в него из потемневшего сада вместе с ароматами теплого лета неустанно струится лунный свет. И наконец: здесь царит хорошее настроение,

проявляющееся в увлеченной болтовне всех присутствующих и особенно главврача, который самовлюбленно внимает собственным прибауткам.

Однако с течением вечера (и тут, по сути, только и завязывается наша история) намечается определенное напряжение: Алжбета пьет больше, чем приличествовало бы сестре на ночном дежурстве, и, кроме того, начинает вести себя по отношению к Гавелу с вызывающим кокетством, которое претит ему и вынуждает дать ей резкую отповедь.

НАСТАВЛЕНИЕ ГАВЕЛА

— Милая Алжбета, я не понимаю вас. День-деньской вы копаетесь в гнойных ранах, вонзаете иглы в сморщенные старушечьи ягодицы, ставите клистиры, выносите судна. Судьба уготовила вам завидную возможность познать человеческую плоть во всей ее метафизической тщетности. Но ваша жизнестойкость не повинуетя голосу разума. Ваше упорное стремление быть телом и только телом ничем нельзя подорвать. Ваши груди ощущает даже мужчина, стоящий в пяти метрах от вас. У меня голова идет кругом, когда я вижу те бесконечные спирали, которые выписывает при ходьбе ваш неутомимый круп. Подите прочь от меня! Ваша грудь вездесуща, как Господь Бог! Еще десять минут назад вам положено было отправиться на инъекции!

ДОКТОР ГАВЕЛ ПОДОБЕН СМЕРТИ. ОН БЕРЕТ ВСЕ

Когда сестра Алжбета (явно обиженная) обреченно удалилась из ординаторской, чтобы сделать уколы в два старушечьих зада, главврач спросил: —

Скажите на милость, Гавел, почему вы так упорно отталкиваете несчастную Алжбету?

Доктор Гавел глотнул вина и сказал: — Шеф, не попрекайте меня. Причина вовсе не в том, что она некрасива и не первой молодости. Поверьте, у меня были женщины куда уродливее и старше.

— Да, про вас говорят, что вы подобны смерти: берете все. Но коль вы берете все, почему бы вам не взять и Алжбету?

— Причина, верно, в том, — сказал Гавел, — что она проявляет свое желание столь навязчиво, что это похоже на приказ. Вы утверждаете, что я в отношении женщин подобен смерти. Однако смерть и та не терпит, чтобы ею повелевали.

ВЕЛИЧАЙШИЙ УСПЕХ ГЛАВВРАЧА

— Пожалуй, я понимаю вас, — сказал главврач. — В былые годы я знал одну девушку, которая спала с кем ни попадя, а поскольку она была хороша, то и я решил заполучить ее. И представьте себе: она отвергла меня. Она спала с моими коллегами, с шоферами, с истопником, поваром, даже с носильщиком трупов, только не со мной. Вы можете себе такое представить?

— Вполне, — сказала докторша.

— Однако учтите, — вскипел главврач, на людях обращаясь к своей любовнице на «вы», — к тому времени прошло уже несколько лет, как я окончил университет и стал зубром в своем деле. Я был убежден в доступности всех женщин и доказывал это на примере особ весьма недоступных. А вот с девушкой, казалось бы такой легкодоступной, я потерпел полный крах.

— Зная вас хорошо, полагаю, что и на этот счет у вас есть своя теория, — сказал доктор Гавел.

— Вы угадали, — ответил главврач. — Эротика — отнюдь не только влечение тела, но в равной мере и честолюбивые мечты. Партнер, которого вы познали, который ценит и любит вас, становится вашим зеркалом, мерой ваших достоинств и вашей значимости. В эротике мы ищем отражение собственной ценности и весомости. Однако у моей шлюшки в этом плане были трудности. Она спала с кем угодно, так что этих зеркал было такое множество, что они давали весьма замутненное и многозначное отражение. И кроме того, когда вы спите со всеми подряд, вы перестаете верить, что такая банальная вещь, как совокупление, может обрести для вас подлинное значение. И тогда настоящий смысл эротического честолюбия вы пытаетесь найти на противоположной стороне. Познать меру своего человеческого достоинства этой шлюшке мог помочь лишь тот, кто добивался ее, но кого она отвергла сама. А поскольку ей хотелось в собственных глазах выглядеть самой красивой и самой лучшей, то, естественно, она была очень строга и взыскательна в выборе того единственного, кого она сумеет почтить своим отказом. Когда в конечном счете она выбрала меня, я понял, что мне она оказала особую честь, и по сию пору считаю это своим величайшим эротическим успехом.

— Вы обладаете поразительным умением превращать воду в вино, — сказала докторша.

— Вас оскорбило, что своим величайшим успехом я считаю не вас? — спросил главврач. — Но поймите меня. Какой бы вы ни были добродетельной женщиной, я для вас (о, вы даже не представляете, как это меня огорчает) не первый и не последний мужчина, тогда как для этой шлюшки я был именно тем единственным. Поверьте, она не забыла меня и до сих пор с тоской вспоминает, что отказала мне. Впрочем, я рассказал эту историю лишь для того, чтобы провести аналогию между нею и нежеланием Гавела вступить в связь с Алжбетой.

ХВАЛА СВОБОДЕ

— Да будет вам, шеф, — прогудел Гавел, — не хотите же вы сказать, что я в Алжбете пытаюсь найти отражение своей человеческой значимости?

— Разумеется, нет, — язвительно заметила докторша. — Вы же нам все объяснили: вызывающее поведение Алжбеты воспринимается вами как приказ, а вы пытаетесь сохранить иллюзию, что сами для себя выбираете женщин.

— Коль уж говорить об этом начистоту, признаюсь вам, сударыня, что это далеко не так, — задумчиво произнес Гавел. — Когда я сказал, что вызывающее поведение Алжбеты претит мне, то пытался найти всего лишь остроумную отговорку. На самом же деле я сходил с женщинами куда более дерзкими, чем она, и эта вызывающая дерзость меня вполне устраивала, ибо она удачно ускоряла развитие событий.

— Какого черта вы тогда отказываетесь от Алжбеты? — воскликнул главврач.

— Шеф, ваш вопрос не столь уж и нелеп, как сначала мне показалось, вижу, на него не так-то просто ответить. Сказать откровенно, я и сам не знаю, почему я отказываюсь от Алжбеты. Я обладал женщинами куда более уродливыми, старыми и наглыми. Из этого следует, что я непременно должен был бы взять и Алжбету. Любые статистики так бы это и вычислили. Все компьютеры мира выдали бы именно такую информацию. И, возможно, как раз поэтому я и не беру ее. Возможно, мне хотелось опровергнуть необходимость. Подставить ножку принципу причинности. Взорвать предсказуемость всеобщей закономерности капризом свободного выбора.

— Но почему вы избрали для этого именно Алжбету?

— Именно потому, что это беспричинно. Была бы здесь причина, ее можно было бы заранее вы-

числить и заранее предсказать мои поступки. Именно в этой беспричинности и есть та самая частица свободы, которая нам дозволена и к которой следует неуклонно стремиться, дабы в этом мире железных законов оставалась малая толика человеческого беспорядка. Да здравствует свобода, мои дорогие коллеги! — сказал Гавел и печально поднял стакан, чтобы чокнуться.

КАКОВЫ ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В эту минуту в комнате появилась новая бутылка, приковавшая внимание всех присутствующих. С бутылкой в дверях стоял обаятельный долговязый юноша, студент мединститута Флайшман, проходивший практику в здешнем отделении. Он поставил (медленно) бутылку на стол, поискал (долго) штопор, приставил (неторопливо) его к горлу бутылки, (не спеша) ввинтил его в пробку, а затем (задумчиво) выгащил ее. Слова в скобках указывают на явную неспешность Флайшмана, которая более чем о нерасторопности свидетельствует о лениво-размеренном самолюбовании, с которым студент-медик сосредоточенно вглядывался в глубины своей души, пренебрегая мало-значимыми деталями окружающего мира.

— Все, что мы тут наболтали, полная чепуха, — изрек доктор Гавел. — Не я Алжбету, а Алжбета отвергла меня. Увы! Она ведь втюрилась в Флайшмана.

— В меня? — Флайшман отставил бутылку, широко шагая по комнате, отнес штопор на место и, вернувшись к столу, стал наполнять стаканы.

— Молодец, ничего не скажешь! — в тон Гавелу воскликнул главврач, дабы позабавить коллег. — Это знают все, только вам невдомек. С тех пор как вы появились в нашем отделении, с ней творится что-то невообразимое. Тому уже два месяца.

Флайшман, одарив главврача долгим взглядом, сказал: — И правда, мне невдомек. — И добавил: — Кроме того, меня это совершенно не касается.

— А как же быть с вашими благородными излияниями? Как же быть с вашими рассказами об уважении к женщинам? — спросил Гавел, напуская на себя величайшую строгость. — Вы заставляете Алжбету страдать, а вам хоть бы хны?

— Я питаю сочувствие к женщинам и сознательно никогда не смог бы причинить им боль, — сказал Флайшман. — Но те чувства, которые я внушаю им безотчетно, меня не касаются, поскольку они вне моего воздействия, а следовательно, я и не ответствен за них.

В комнату вошла Алжбета. Она, видимо, рассудила, что самое мудрое — забыть о нанесенной ей обиде и вести себя так, будто ничего не случилось, и потому вела себя на удивление неестественно. Главврач пододвинул для нее стул к столу и наполнил стакан. — Выпейте, Алжбета, и забудьте про все неприятности.

— Само собой, — широко улыбнувшись ему, сказала Алжбета и осушила стакан.

А главврач снова обратился к Флайшману: — Если бы человек нес ответственность только за то, что он осознает, с глупцов была бы заранее снята любая вина. Однако, дорогой Флайшман, человек обязан знать. Человек отвечает за свое незнание. Незнание — вина. И потому ничто не избавляет вас от вины, и я заявляю, что с женщинами вы ведете себя по-хамски, как бы вы ни отрицали это.

ХВАЛА ПЛАТОНИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ

— Удалось ли вам снять обещанную квартиру для барышни Клары? — атаковал Флайшмана Гавел, намекнув ему на его безрезультатные попытки

добиться расположения одной (небезызвестной присутствующим) молодой особы.

— Пока не удалось, но удастся.

— Кстати сказать, Флайшман ведет себя с женщинами по-джентльменски. Коллега Флайшман не морочит женщинам голову, — вмешалась в разговор докторша, взяв студента-медика под защиту.

— Я не терплю грубости в отношении женщин, так как испытываю к ним жалость, — повторил Флайшман.

— Но все равно Клара не легла с вами в постель, — сказала Алжбета, засмеявшись столь непристойно, что главврач почел необходимым вступить в разговор:

— Легла не легла, это вовсе не столь важно, Алжбета, как вы полагаете. Известно, что Абеляр был кастрирован, однако это не помешало им с Элоизой навсегда остаться верными любовниками, и любовь их бессмертна. Госпожа Жорж Санд прожила семь лет с Фредериком Шопеном безгрешно, как девственница, но куда вам до высот их любви! Конечно, не совсем уместно в этом возвышенном ряду приводить пример шлюшки, оказавшей мне величайшую честь тем, что отвергла меня. Но зарубите себе на носу, дорогая Алжбета, между любовью и тем, что не выходит у вас из головы, связь гораздо свободнее, чем сдается людям. Надо ли вам сомневаться, что Клара любит Флайшмана! Она нежна с ним и все-таки отвергает его. Для вас это звучит нелогично, но любовь меньше всего подвластна логике.

— Что здесь нелогичного? — спросила Алжбета и снова вульгарно засмеялась. — Кларе нужна квартира. Вот она и нежна с Флайшманом. Но спать с ним она не желает. Скорее всего потому, что спит с другим. Но тот другой достать ей квартиру не может.

Тут Флайшман поднял голову и сказал: — Вы действуете мне на нервы. Вы что, все еще в переходном возрасте? А если женщине просто мешает

стыд? Эта мысль не приходит вам в голову? Что если она скрывает от меня какой-то недуг? Допустим, послеоперационный шов, обезображивающий ее тело? Женщинам свойственно стыдиться до невозможности. Хотя вам, Алжбета, это трудно понять.

— Можно предположить и другое, — поспешил на помощь Флайшману главврач. — В присутствии Флайшмана Клара так цепенеет от трепета любви, что уже не может ею с ним заниматься. А вы, Алжбета, способны ли представить себе такую сильную любовь к кому-то, которая могла бы вам помешать переспать с ним?

Алжбета заявила, что она на это неспособна.

ЗНАК

Тут мы можем на какое-то время отвлечься от разговора (без устали обсасывающего всяческие несуразности) и упомянуть о том, что на всем его протяжении Флайшман старался поймать взгляд докторши, которая чертовски приглянулась ему с той самой минуты (с месяц назад), как он увидел ее. Величие ее тридцатилетнего возраста завораживало его. До сих пор он видел ее лишь вскользь и сегодня впервые получил возможность провести с ней какое-то время в одном помещении. Ему казалось, что и она иной раз ловит его взгляды, и это возбуждало его.

И вдруг, после одного такого переглядывания, докторша неожиданно встала, подошла к окну и сказала: «Как чудесно в саду! Полнолуние...» — и вновь бросила на Флайшмана беглый взгляд.

Флайшман, чутко реагиовавший на такого рода ситуации, сразу понял, что это знак — знак, поданный ему. Он миг почувствовал, как вздымается грудь. А его грудь была чутким инструментом, достойным мастерской Страдивари. Случалось, что он испытывал

в груди именно такую распирающую волну восторга и всякий раз был уверен, что эта волна пророчит ему не что иное, как неотвратимый приход чего-то великого и небывалого, превышающего все его мечты.

На сей раз он, с одной стороны, был опьянен этой волной, с другой (в уголке сознания, куда это опьянение не доходило) — удивлен: возможно ли, чтобы его мечта обладала такой силой, что по ее зову реальность послушно спешила преобразиться? Не уставая удивляться своему могуществу, он внимательно следил за тем, когда дебаты станут настолько захватывающими, что их участники перестанут его замечать. Как только наступил подходящий момент, он выскользнул из помещения.

ПРЕКРАСНЫЙ ЮНОША СО СЛОЖЕННЫМИ РУКАМИ

Отделение, где происходил этот импровизированный симпозиум, располагалось на первом этаже прелестного флигеля, стоявшего (наряду с другими флигелями) в просторном больничном саду. Сейчас в сад вышел Флайшман. Прислонившись к высокому стволу платана, он закурил и возвел глаза к небу: было лето, по воздуху плыли ароматы, и на черном небо-склоне висела круглая луна.

Он попытался представить себе ход дальнейших событий: докторша, минутой раньше подавшая ему знак выйти в сад, дождетя момента, когда разговор отвлечет ее лысого любовника от подозрений, и затем, должно быть, неприметно обронит, что интимная нужда заставляет ее ненадолго покинуть компанию.

А что случится далее? Далее он уже не хотел ничего воображать. Волнение в груди предвещало ему приключение, и этого было достаточно. Он верил в свой успех, в свою звезду любви и верил в молодую

докторшу. Убаюканный своей самоуверенностью (всякий раз несколько удивляющей), он отдавался приятному бездействию. Ведь он всегда воспринимал себя как мужчину привлекательного, желанного и любимого и наслаждался тем, что ждет приключения пассивно, как говорится, сложа руки. Он верил, что именно такая поза возбуждает и покоряет женщин и судьбу.

Здесь, пожалуй, уместно заметить, что Флайшман часто, если не постоянно (и самовлюбленно), видел себя со стороны, так что с ним непрерывно был его двойник, превращавший его одиночество в состояние вполне занятое. На сей раз, например, он не только стоял опершись о платан и курил, но одновременно с наслаждением наблюдал за тем, как он стоит (красивый и юный) опершись о платан и непринужденно курит. Так он любовался сам собой, пока не услышал легкие шаги, направлявшиеся к нему от флигеля. Он преднамеренно не оборачивался. Еще раз затянулся, выпустил дым и воздел глаза к небу. Когда шаги приблизились к нему, он молвил нежным, вкрадчивым голосом: — Я знал, что вы придете...

МОЧЕИСПУСКАНИЕ

— Не так уж трудно было догадаться, — ответил ему главврач, — я ведь всегда предпочитаю мочиться на природе, чем пользоваться современными клозетами, где чувствуешь себя отвратительно. А здесь золотистый ручеек каким-то чудом миг соединяет меня с глиной, травой и землей. Ибо, Флайшман, я прах и в прах возвращусь, пусть хотя бы частично. Мочиться на природе — это священный обряд, коим мы даем земле обещание однажды вернуться в нее целиком.

Флайшман молчал, и главврач спросил его: «А вы что? Вышли поглядеть на луну?» Но Флайшман продолжал упорно молчать, и главврач сказал: «Вы,

Флайшман, настоящий лунатик. Именно поэтому я и люблю вас». В словах главврача Флайшману слышалась насмешка, но, стараясь оставаться невозмутимым, он процедил сквозь зубы: «Ну вас с вашей луной! Я тоже пришел сюда помочиться».

— Дорогой Флайшман, принимаю это как чрезвычайное проявление вашей симпатии к стареющему шефу.

И они оба встали под платаном, дабы совершить действие, которое главврач, с неослабевающим пафосом и без конца варьируя эпитеты, сравнивал с богослужением.

ВТОРОЙ АКТ

ПРЕКРАСНЫЙ ЮНОША, ПОЛНЫЙ САРКАЗМА

Когда они вместе шли по длинному коридору в ординаторскую, главврач по-братски обхватил студента-медика за плечо. Студент не сомневался в том, что лысый ревнивец заметил поданный докторшей знак и теперь в своих дружеских излияниях смеется над ним. Он, конечно, не мог сбросить руку шефа со своего плеча, но тем больше гнева скапливалось в нем. И утешало его лишь то, что он не только был полон гнева, но одновременно и *видел* себя со стороны в этом гнев; вид юноши, возвращающегося в ординаторскую неожиданно для всех совершенно преображенным, вполне удовлетворял его: едко саркастичный, агрессивно остроумный, чуть ли не демонический.

Когда они оба наконец вошли в ординаторскую, то узрели такую картину: Алжбета стояла посреди комнаты и, вполголоса напевая какую-то мелодию, уродливо вихляла в такт бедрами. Доктор Гавел сидел по-

тупив взор, а докторша, стремясь предотвратить испуг вошедших, пояснила: — Алжбета танцует.

— Хватила лишку, — добавил Гавел.

Алжбета без усталости виляла бедрами и при этом еще вращала бюстом перед склоненной головой сидевшего Гавела.

— Где вы научились такому прекрасному танцу? — спросил главврач.

Флайшман, раздуваясь от сарказма, демонстративно рассмеялся: — Ха-ха-ха! Прекрасный танец! Ха-ха-ха!

— Я видела такой в Вене, в стриптиз-баре, — ответила Алжбета главврачу.

— Ну и ну, — с мягким укором сказал главврач, — с каких это пор наши сестры ходят в стриптиз-бары?

— А разве это запрещено, пан шеф? — спросила Алжбета, выводя бюстом окружности перед главврачом.

Желчь, все больше подступавшая к горлу Флайшмана, рвалась излиться наружу. И потому он изрек: — Вам нужен бром, а не стриптиз. Становится просто страшно, что вы нас изнасилуете!

— Вам-то нечего бояться. Сосунки меня не занимают, — отрезала Алжбета, извиваясь всем телом перед Гавелом.

— А вам понравился стриптиз? — по-отечески продолжал расспрашивать ее главврач.

— Еще бы! — ответила Алжбета. — Там была одна шведка с огромными сисями, но куда ей до меня (при этих словах она погладила себя по груди), и еще там была одна девушка, изображавшая, что купается в мыльной пене в такой картонной ванне, и потом еще мулатка — та вообще перед всеми зрителями занималась онанизмом, и это было самое интересное.

— Ха-ха! — взорвался Флайшман на пределе своего дьявольского сарказма. — Онанизм — как раз то, что вам нужно!

ПЕЧАЛЬ В ФОРМЕ ЗАДА

Алжбета продолжала танцевать, но с публикой, по всей вероятности, ей повезло гораздо меньше, чем танцовщицам в венском стриптиз-баре: Гавел сидел понуриив голову, докторша смотрела на Алжбету с насмешкой, Флайшман — с осуждением, а главврач — с отцовской снисходительностью. И Алжбетин зад, обтянутый белой материей медсестринского фартука, вращаясь, перемещался по комнате, как прекрасное круглое солнце, но солнце уже погасшее и мертвое (окутанное белым саваном), солнце, осужденное равнодушными и смущенными взглядами присутствующих эскулапов на жалкую ненадобность.

В какой-то момент показалось, что Алжбета и впрямь начнет сбрасывать с себя одежду, и потому главврач с тревогой в голосе проговорил: — Ну-ну, Алжбетка! Вы, надеюсь, понимаете, что здесь не Вена!

— Ладно вам беспокоиться, пан шеф! По крайней мере, увидите, как должна выглядеть голая женщина! — хорохорилась Алжбета и, снова повернувшись к Гавелу, угрожающе затрясла перед ним грудями: — Ну что, Гавличек? Ты вроде как на похоронах! Подними голову! У тебя что, кто-то умер? Почему ты в трауре, скажи? Погляди на меня! Я ведь жива! Я же не умираю! Я все еще живу! Я живу! — И при этих словах ее зад уже перестал быть задом, а стал самой печалью, печалью прекрасно выточенной, танцующей по комнате.

— Перестаньте, Алжбета! — сказал Гавел, не отрывая взгляда от паркета.

— Перестать? — спросила Алжбета. — Я ведь танцую ради тебя! А сейчас устрою для тебя стриптиз! Бесподобный стриптиз! — И она, развязав сзади фартук, жестом танцовщицы бросила его на письменный стол.

Главврач снова испуганно проронил: — В общем, Алжбетка, было бы недурно, если бы вы показали нам стриптиз, но где-нибудь в другом месте. Вы же понимаете, мы здесь при исполнении служебных обязанностей.

БЕСПОДОБНЫЙ СТРИПТИЗ

— Я знаю, как себя вести, пан шеф! — все еще вертась, ответила Алжбета, оставшись теперь в своем светлоголубом форменном платье с белым воротничком.

Она прижала руки к талии и, скользя вдоль тела вверх, вознесла их над головой; затем правой рукой провела вверх по поднятой левой, левой — по правой, а потом обеими руками сделала изящный жест в сторону Флайшмана, словно бросая ему блузку. Флайшман испуганно передернулся. «Сосунок, ты уронил ее на пол!» — прикрикнула она на него.

Она снова прижала руки к талии, но на сей раз заскользнула вдоль бедер и ног; согнувшись в талии, стала медленно приподнимать правую ногу, потом — левую; посмотрев на главврача, сделала резкое движение правой рукой, словно бросая ему воображаемую юбку. Шеф в то же мгновение простер вперед руку с растопыренными пальцами, которые тут же сжались в кулак. Положив эту руку на колено, пальцами другой руки он послал Алжбете воздушный поцелуй.

Повертевшись в таком танце еще две-три минуты, Алжбета остановилась, встала на цыпочки и, согнув руки в локтях, завела их за спину, пытаясь дотянуться до верхних позвонков; затем изящным танцевальным жестом вытянула их вперед, правой ладонью погладила левое плечо, левой — правое и снова сделала плавное движение рукой, но на этот раз в сторону Гавела, который едва приметно и растерянно шевельнул пальцами.

Подняв голову, Алжбета стала теперь величаво ходить по комнате; она обошла всех своих четверых зрителей, демонстрируя каждому из них в отдельности воображаемую наготу своего бюста. Под конец она остановилась перед Гавелом, опять завияла бедрами, а потом, чуть пригнувшись, провела обеими руками вдоль боков вниз и снова (как за минуту до этого) приподняла сперва одну, потом другую ногу и, победоносно выпрямившись, вскинула правую руку с двумя сжатыми пальцами — большим и указательным. Этой рукой она вновь сделала плавный жест в сторону Гавела.

Теперь она стояла во всем торжестве своей мнимой наготы и уже ни на кого не смотрела, даже на Гавела; а потом, лишь чуть склонив голову и полуприкрыв глаза, оглядела свое все еще выхлящющееся тело.

И тут вдруг ее гордая осанка надломилась, и она уселась на колени доктора Гавела; зевая сказала: «Я ужасно устала». Взяв стакан Гавела, сделала глоток. «Доктор, — обратилась она к нему, — нет ли у тебя каких-нибудь таблеток, чтобы взбодриться? Не идти же мне спать!»

— Для вас все, что хотите, Алжбетка, — сказал Гавел, пересадил ее со своих колен на стул и пошел к аптечке. Отыскав сильнодействующее снотворное, он протянул две таблетки Алжбете.

— Это меня встряхнет? — спросила она.

— Это так же точно, как то, что я Гавел, — ответил он.

ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛОВА АЛЖБЕТЫ

Проглотив таблетки, Алжбета снова попыталась усесться на колени к Гавелу, но он раздвинул ноги, и она рухнула на пол.

Гавел тут же пожалел о содеянном: он вовсе не помышлял о столь постыдном падении Алжбеты, и

его движение было скорее безотчетным выражением отвращения при одной мысли о том, что Алжбетин зад снова коснется его колен.

Он тут же попытался поднять Алжбету, но она с каким-то жалким упорством всем телом прижималась к полу.

Тут перед ней предстал Флайшман и сказал: — Вы пьяны, ступайте-ка лучше спать!

Алжбета посмотрела на него с бесконечным презрением и (упиваясь мазохистским пафосом своей распростертости на полу) сказала: — Хам. Балбес. — И еще раз: — Балбес.

Гавел снова попытался поднять ее, но она яростно вырвалась и разрыдалась. Все в растерянности молчали, и в наступившей тишине рыдания звучали как скрипичное соло. Вдруг докторше пришло в голову тихонько подсвистать. Алжбета резко поднялась и пошла к двери, взявшись за ручку, она слегка обернулась к присутствующим и сказала: — Хамье. Хамье. Знали бы вы! Ничего вы не знаете. Ничего вы не знаете.

ГЛАВВРАЧ ПРОТИВ ФЛАЙШМАНА

После ухода Алжбеты воцарилась тишина, которую первым нарушил главврач: — Вот видите, милый Флайшман. А вы еще говорите, что полны сочувствия к женщинам. Но если вы сочувствуете им, то почему не сочувствуете Алжбете?

— Какое она имеет ко мне отношение? — пробовал защититься Флайшман.

— Не делайте вид, что вы ничего не знаете. Мы же вам сказали, что она вторглась в вас.

— Разве я виноват в этом? — спросил Флайшман.

— Нет, не виноваты, — сказал главврач. — Но виноваты в том, что вы грубы с ней и мучаете ее. Весь вечер для нее было важно одно: как вы будете

вести себя, взглянете ли на нее, улыбнетесь ли ей, скажете ли что-либо приятное. А вы вспомните, что вы ей говорили.

— Ничего такого ужасного я ей не говорил, — продолжал защищаться Флайшман, но голос его звучал довольно неуверенно.

— Ничего такого ужасного? — усмеянулся главврач. — Вы смеялись над тем, как она танцует, хотя танцевала она только для вас, вы посоветовали ей принять бром, заявили, что самое для нее подходящее — это онанизм. Скажете тоже — ничего ужасного! Когда она изображала стриптиз, вы уронили ее блузку.

— Какую блузку? — защищаясь, спросил Флайшман.

— Блузку, — повторил главврач. — И не прикидывайтесь дурачком. В конце концов вы послали ее спать, хотя за минуту до этого она приняла таблетки против усталости.

— Но она все время метила в Гавела, а не в меня, — не уставал защищаться Флайшман.

— Не ломайте комедию, — сказал главврач строго. — Что ей было делать, раз вы не обращали на нее внимания? Она хотела подразнить вас. И мечтала лишь об одном — о капле ревности с вашей стороны. Эх вы, джентльмен!

— Не терзайте его, шеф, — сказала докторша. — Он жесток, зато молод.

— Это карающий архангел, — изрек Гавел.

МИФИЧЕСКИЕ РОЛИ

— И в самом деле, — сказала докторша, — взгляните на него: прекрасный грозный архангел.

— Здесь собрались одни мифические герои, — сонным голосом проговорил главврач, — ибо ты истинная Диана. Фригидная, спортивная, злорадная.

— А вы сатир. Старый, сластолюбивый краснобай, — не постояла за словом докторша. — А Гавел — Дон Жуан. Не старый, но стареющий.

— Как бы не так! Гавел — это смерть, — возразил главврач, напомнив им свой излюбленный тезис.

КОНЕЦ ДОН ЖУАНА

— Если уж решать, кто я — Дон Жуан или смерть, я должен, увы, присоединиться к мнению шефа, — заявил Гавел и изрядно хлебнул вина. — Дон Жуан. Это же был завоеватель. Причем с большой буквы: Великий Завоеватель. Но, скажите, пожалуйста, можно ли быть завоевателем на территории, где вам никто не сопротивляется, где все доступно и все дозволено? Эпоха Дон Жуана канула в Лету. Нынешний потомок Дон Жуана уже не завоевывает, а лишь собирает. На смену Великому Завоевателю пришел Великий Собиратель. Но Собиратель — это никак не Дон Жуан. Дон Жуан был героем трагедии. На нем лежало бремя вины. Он грешил весело и глумился над Богом. Он был богохульником и сошел в ад.

Дон Жуан нес на плечах бремя трагичности, о котором Собиратель не имеет понятия, ибо в его мире всякое бремя утратило вес. Каменная глыба стала там легче пуха. В мире Завоевателя единый взгляд весил не меньше, чем в империи Собирателя весит десятилетие самой истовой телесной любви.

Дон Жуан был господин, тогда как Собиратель — всего лишь раб. Дон Жуан дерзновенно преступал условности и законы. Великий Собиратель лишь покорно, в поте лица своего следует условностям и законам, поскольку собирательство нынче стало признаком хороших манер, бонтоном и чуть ли не долгом. Ведь если я в чем-то и виноват, так только в том, что не беру Алжбету.

У Великого Собирателя нет ничего общего ни с трагедией, ни с драмой. Эротика, некогда приманка катастроф, его стараниями приравнена нынче к завтракам и обедам, к филателии, пинг-понгу, а то и вовсе к поездке на трамвае и хождению по магазинам. Он ввел эотику в круговорот вседневности, превратив ее в театральные кулисы и подмостки, на которые настоящей драме так и не суждено взойти. Увы, друзья, — патетически воскликнул Гавел, — мои любви (если я вправе их так называть) — всего лишь сцена, на которой ничего не происходит.

Дорогая сударыня, дорогой шеф! Дон Жуана вы противопоставили смерти. В силу чистой случайности и некоторого упущения вы тем самым проникли в самую суть вещей. Подумайте только! Дон Жуан вступил в схватку с невозможным. И это как раз свойственно человеку. Но в империи Великого Собирателя нет ничего невозможного, ибо это империя смерти. Великий Собиратель — это сама смерть, уносящая с собой трагедию, драму, любовь. Смерть пришла и за Дон Жуаном. И все же поверженный Командором в геенну огненную, Дон Жуан жив. Лишь в мире Великого Собирателя, где страсти и чувства выются в пространстве, подобно пушишкам, в этом мире Дон Жуан окончательно умер.

Куда уж там, дорогая сударыня, — печально продолжал Гавел, — я и Дон Жуан! Чего бы я ни отдал, лишь бы увидеть Командора и почувствовать душераздирающую тяжесть его проклятья, почувствовать, как во мне утверждается величие трагедии. Куда уж там, дорогая сударыня, самое большее, я герой комедии, но даже за это я признателен не себе, а именно Дон Жуану, поскольку лишь на историческом фоне его трагического веселья можно еще кое-как разглядеть комическую печаль моего блудного существования, которое без этого совершеннейшего образца выглядело бы разве что тусклой обыденностью и унылым пейзажем.

НОВЫЕ ЗНАКИ

Устав от своего празднословия (меж тем у шефа в дреме дважды никла голова), Гавел умолк. Лишь после надлежащей паузы, пронизанной волнением, раздался голос докторши: — Не ожидала, что вы умеете так витийствовать. Вы изобразили себя комедийным персонажем, профаном и полным ничтожеством. Жаль только, что манера вашего изложения слишком напыщенна. А виной всему — ваша проклятая утонченность: обзывать себя нищевродом, но выбирать для этого слова по-королевски возвышенные, чтобы оставаться все же больше королем, чем нищевродом. Вы старый плут, Гавел. Вы тщеславны и тогда, когда поносите себя. Вы старый и гнусный плут.

Флайшман смачно рассмеялся, с удовольствием полагая, что уловил в словах докторши презрение к Гавелу. Приободренный ее издевкой и собственным смехом, он подошел к окну и многозначительно изрек: — Какая ночь!

— Да, — отозвалась докторша, — восхитительная ночь. А Гавел разыгрывает из себя смерть! Вы хотя бы заметили, Гавел, что сегодня чудесная ночь?

— Какое там! — подхватил Флайшман. — Для Гавела женщина — не более чем женщина, ночь — просто ночь, а зима — все равно что лето. Доктор Гавел не желает замечать второстепенные детали.

— Вы раскусили меня, — сказал Гавел.

Флайшман не сомневался, что на этот раз ему удастся встретиться с докторшей: шеф немало выпил, и, похоже, напавшая на него сонливость изрядно притупила его бдительность; и потому Флайшман неприметно обронил: «Ах, мой бедный мочевой пузырь!» — и, метнув взгляд в сторону докторши, вышел из комнаты.

Проходя по коридору, он с немалым удовольствием вспоминал, как на протяжении всего вечера докторша отпускала колкости в адрес обоих мужчин, главврача и Гавела, которого только что весьма метко назвала плутом, и изумлялся тому, как всякий раз повторяется ситуация, удивляющая его всякий раз именно потому, что повторяется столь регулярно: он нравится женщинам, они предпочитают его выдавшим виды мужчинам, а случай с докторшей, женщиной, без сомнения, чрезвычайно разборчивой, интеллигентной и чуть (однако мило) заносчивой, являет собой триумф грандиозный, новый и неожиданный.

В таком приподнятом настроении Флайшман направлялся по длинному коридору к выходу, но, подойдя к распашным дверям, ведущим в сад, вдруг почувствовал резкий запах газа. Он остановился, принюхался. Самый густой запах стоял у комнаты медсестер. Флайшмана вдруг охватил дикий страх.

Сперва он хотел было тотчас вернуться назад и позвать на помощь шефа и Гавела, но потом все же сам отважился взяться за ручку двери (скорей всего потому, что считал дверь запертой, а то и вовсе забаррикадированной). Но, к его вящему удивлению, дверь открылась. В комнате горела яркая потолочная лампа, освещавшая лежащее на диване крупное и совершенно нагое женское тело. Оглядевшись, Флайшман вмиг подскочил к маленькой газовой горелке. Закрыв краник, он бросился к окну и распахнул его настежь.

ЗАМЕЧАНИЕ В СКОБКАХ

(Следует признать, Флайшман действовал решительно и вполне мужественно. Однако одну деталь он не успел достаточно хладнокровно отметить. Хотя

его взгляд с добрую минуту и был прикован к нагому телу Алжбеты, сам он переполнился таким страхом, что сквозь его пелену вовсе не осознавал того, что только мы, выгодно удаленные во времени, можем оценить по достоинству:

Это тело было великолепным. Оно лежало на спине, голова была чуть повернута, плечи слегка сдвинуты, отчего одна прекрасная, округлой формы грудь прижималась к другой. Одна нога была вытянута, другая — чуть согнута в колене, так что можно было лицезреть восхитительную полноту бедер и чрезвычайно густую чернь треугольника.)

КРИК О ПОМОЩИ

Настежь распахнув окно и дверь, Флайшман выбежал в коридор и стал звать на помощь. Все, что последовало, совершалось в обстановке торопливой деловитости: искусственное дыхание, звонок в терапию, каталка для перевозки больной, передача ее дежурному терапевту, снова искусственное дыхание, воскрешение, переливание крови и в конечном счете — глубокий вздох облегчения, когда стало ясно, что жизнь Алжбеты вне опасности.

ТРЕТИЙ АКТ

ЧТО КТО СКАЗАЛ

Когда все четверо врачей покинули терапию, вид у них был крайне измученный.

Шеф сказал: — Испортила нам симпозиум эта Алжбетка.

Докторша сказала: — Неудовлетворенные женщины всегда приносят несчастье.

Гавел сказал: — Фантастика! Ей пришлось открыть газ, чтобы мы узнали, какое у нее прекрасное тело.

При этих словах Флайшман посмотрел на Гавела (долгим взглядом) и сказал: — Мне уже не хочется ни пить, ни упражняться в острологии. Покойной ночи. — И он направился к выходу.

ТЕОРИЯ ФЛАЙШМАНА

Болтология коллег казалась Фрайшману отвратительной. В ней он узнавал бесчувственность стареющих людей, жестокость их возраста, воздвигавшего перед его молодостью некий вражеский барьер. Радуясь своему одиночеству, он сознательно пошел пешком, чтобы в полной мере прожить и прочувствовать свое смятение: со сладостным трепетом он не уставал убеждать себя, что Алжбета была на волосок от смерти и что в этой смерти был бы повинен он.

Разумеется, он отлично знал, что самоубийство совершается не по какой-то одной причине, а чаще всего их целый куст, но он никак не мог освободиться от мысли, что одной (и, быть может, решающей) причиной был он: и самим фактом своего существования, и своим сегодняшним поведением.

Теперь он не без патетики обвинял себя. Называл себя эгоистом, тщеславно сосредоточенным на своих любовных успехах. Смеялся над тем, как позволил женщине ослепить себя интересом к его особе. Укорял себя, что Алжбета превратилась для него просто в вещь, в посудину, в которую он сливал свой гнев, когда ревнивец шеф помешал его ночному свиданию с докторшей. По какому праву, да, по какому праву он так вел себя с невинным человеком?

Молодой медик, однако, не был существом примитивным; в каждом движении его души сказывалась

диалектика утверждения и отрицания; вот и сейчас внутреннему голосу обвинителя тотчас возражал внутренний голос защитника: да, его сарказмы, адресованные Алжбете, были явно неуместны, но они вряд ли привели бы к таким трагическим последствиям, если бы Алжбета не любила его. Но виноват ли Флайшман в том, что какая-то женщина в него влюбилась? Неужто он автоматически становится ответственным за нее?

Он задумался над этим вопросом — ответ на него казался ему ключом к тайне человеческого бытия. Остановившись, он со всей серьезностью ответил себе: нет, он был не прав, когда уверял сегодня шефа, что не отвечает за те чувства, которые он безотчетно внушает женщине. Разве можно ограничить себя лишь тем, что осознанно и преднамеренно? Разве те чувства, что он внушает безотчетно, не имеют отношения к его особе? Разве кто-то другой ответствен за них? Да, он виноват, что Алжбета полюбила его; виноват, что не знал этого, что не обращал на это внимания; он кругом виноват. Недоставало капли, и по его вине человек мог бы погибнуть.

ТЕОРИЯ ГЛАВВРАЧА

В то время как Флайшман предавался самобичеванию, шеф, Гавел и докторша вернулись в ординаторскую, но пить им уже и впрямь расхотелось; какое-то время они молчали, а потом Гавел со вздохом сказал: — И что этой Алжбете взбрело в голову!

— Только никаких сантиментов, доктор, — заявил шеф. — Когда кто-то совершает такие глупости, я запрещаю себе переживать по этому поводу. Если бы вы так не упрямылись и проделали бы с ней то, что делаете без зазрения совести со всеми прочими женщинами, этого бы не случилось.

— Весьма признателен, что вину за ее самоубийство вы возложили на меня, — сказал Гавел.

— Давайте кое-что уточним, — возразил шеф, — речь ведь шла не о самоубийстве, а о демонстрации самоубийства, разыгранной так, чтобы до катастрофы дело не дошло. Дорогой доктор, если кому-то взбредет в голову отравиться газом, он прежде всего запрет дверь. И не только это: он старательно заткнет щели, чтобы запах газа как можно дольше оставался незамеченным. Но не о смерти думала Алжбета, она думала о вас.

Не одну неделю она тешила себя мыслью, что наконец сегодняшней ночью останется с вами дежурить, и уже с самого начала вечера беззастенчиво обрушила на вас весь свой пыл. Но вы вели себя жестокосердно. И чем жестче вы становились, тем больше она пила, прибегая ко все более вызывающим средствам: молола чепуху, танцевала, решила устроить стриптиз...

Знаете ли, в этом есть даже нечто трогательное. Не сумев привлечь к себе ни ваши уши, ни ваши глаза, она сделала ставку на ваше обоняние и открыла газ. Но прежде чем открыть его, разделась. Зная, что ее тело прекрасно, она и вас хотела заставить убедиться в этом. Только вспомните, что она говорила нам на прощание: *Знали бы вы. Ничего вы не знаете. Ничего вы не знаете.* А теперь вы уже знаете все: Алжбета нехороша лицом, но прекрасна телом. Вы сами это засвидетельствовали. Как видите, ее расчет был не так уж и опрометчив. Кто знает, теперь, возможно, вы и пойдете на попятную.

— Возможно, — пожав плечами, сказал Гавел.

— Я в этом не сомневаюсь, — подытожил шеф.

ТЕОРИЯ ГАВЕЛА

— Все, что вы говорите, шеф, вполне резонно, но здесь есть и один просчет: в этой игре вы пере-

оцениваете мою роль. Дело же не во мне. Я ведь был не единственным, кто отказывался спать с Алжбетой. С Алжбетой никто не хотел спать.

Когда вы сегодня спросили меня, почему я не беру Алжбету, я наболтал вам всякую чушь о красоте своеволия и о свободе, какой хочу обладать. Но все это не более чем пустозвонство, имеющее целью скрыть правду, прямо противоположную всему сказанному и отнюдь не привлекательную: я отвергал Алжбету как раз потому, что не умею быть свободным. Поясню: не спать с Алжбетой стало своего рода модой. С ней никто не спит, а если бы кто-то с ней случайно и переспал, то никогда не признался бы в этом, ибо все осмеяли бы его. Мода — чудовищный тиран, и я рабски подчинился ей. Нельзя забывать, что Алжбета — женщина в самом соку, и всеобщее небрежение к ней лишало ее рассудка. А мое небрежение и вовсе доконало ее, так как известно, что я беру все. Однако на сей раз мода оказалась для меня важнее Алжбетиного рассудка.

И вы правы, шеф: она знала, что у нее красивое тело, и потому, считая такое отношение к ней полной бессмыслицей и несправедливостью, сопротивлялась как могла. Вспомните только, как на протяжении всего вечера она не уставала демонстрировать свое тело. Рассказывая о шведке в венском стриптиз-баре, поглаживала свои груди и утверждала, что они красивее, чем у той шведки. Кстати, вспомните: ее грудь и круп в этот вечер заполонили всю комнату, точно толпа демонстрантов. Право, шеф, это поистине была демонстрация!

А этот ее стриптиз, вы только вспомните, как она была захвачена им! Шеф, это был самый печальный стриптиз, какой довелось мне когда-либо видеть. Она раздевалась со страстью, оставаясь при этом в ненавистном чехле своей медсестринской фор-

мы. Раздевалась, но раздеться не могла. И даже зная, что не разденется, все равно раздевалась, желая поделиться с нами своей печальной и неосуществимой мечтой раздеться. Шеф, она не раздевалась, нет, она пела о своем раздевании, пела о невозможности раздеться, о невозможности отдаться, о невозможности жить! А мы даже не пожелали ее выслушать, мы опустили голову и безучастно отвели взгляд!

— О-о, вы бабник-романтик! Вы и вправду думаете, что она хотела умереть? — крикнул Гавелу шеф.

— Вспомните, — заметил Гавел, — как она, танцуя, сказала мне: *Я еще живу! Я все еще живу!* Вы помните? С той минуты, как она начала танцевать, она знала, что совершит.

— Но почему ей захотелось умереть голой, а? Как вы это объясните?

— Она хотела войти в объятия смерти, как входят в объятия любовника. Поэтому она разделась, причесалась, подкрасилась...

— И потому оставила дверь открытой! Прошу вас, не внушайте себе, что она действительно хотела умереть!

— Возможно, она и сама точно не знала, чего хочет. Разве вы знаете, чего хотите? Кто из нас это знает? Хотела — не хотела! Она вполне искренно хотела умереть и при этом (столь же искренно) хотела задержать мгновение, когда была уже на полпути к смерти, но еще могла ощущать величие собственного поступка. Поймите, она вовсе не хотела, чтобы ее видели почерневшей, зловонной и обезображенной. Она хотела предстать перед нами во всем своем блеске, показать, как ее прекрасное и неоцененное тело отплывает в объятия смерти, чтобы совокупиться с ней. Она хотела, чтобы хоть в эту исключительную минуту мы позавидовали смерти, завладевшей этим телом, и возжелали его.

ТЕОРИЯ ДОКТОРШИ

— Дорогие господа, — вступила в разговор докторша, до сих пор хранившая молчание и внимательно слушавшая обоих медиков, — насколько я, как женщина, могу судить, вы оба толковали обо всем вполне логично. Сами по себе ваши теории убедительны и поражают глубоким знанием жизни. Однако они содержат один маленький недостаток: в них нет ни толики правды. Алжбета и не помышляла о самоубийстве. Ни о реальном, ни о показном. Ни о каком.

Она с минуту наслаждалась эффектом своих слов, затем заговорила снова: — Дорогие господа, сразу чувствуется, что у вас нечистая совесть. Когда мы возвращались назад из терапии, вы постарались проскользнуть мимо Алжбетиной комнаты. Вы даже не удосужились заглянуть туда. Но я-то хорошо осмотрела комнату, когда вы приводили Алжбету в чувство. На плитке стояла кастрюлька. Алжбета варила кофе и уснула. Вода вскипела и потушила пламя.

Оба медика поспешили за докторшей в комнату медсестры и убедились, что так оно и было: на плитке стояла маленькая кастрюлька, на дне которой оставалось еще немного воды.

— Тогда скажите мне, пожалуйста, почему она была голой? — спросил удивленный шеф.

— Взгляните, — сказала докторша и кивком указала три направления: на полу под окном лежало светло-голубое платье, с белого аптечного шкафчика свисал бюстгальтер, а напротив в углу валялись белые трусики. — Алжбета разбрасывала свою одежду в разные стороны; скорее всего, ей захотелось для самой себя устроить настоящий стриптиз, такой, которому вы, шеф, с присущей вам осторожностью, помешали.

Раздевшись догола, она, по всей видимости, почувствовала усталость. Это ей было совершенно не-

кстати, ибо надежда на эту ночь все еще не покидала ее. Она знала, что все мы уйдем, а Гавел останется в одиночестве. Возможно, поэтому она и попросила таблетки, чтобы взбодриться. К тому же решила сварить себе еще кофе и поставила кастрюльку с водой на плиту. Затем, оглядев свое тело, возбудилась. О, господа, у Алжбеты по сравнению с вами было одно преимущество: она видела свое тело, но не видела своего лица. А значит, казалась себе безупречно красивой. Это настолько возбудило ее, что она в истоме легла на диван. Но сон явно наступил раньше оргазма.

— Вполне возможно, — сказал Гавел. — Теперь вспоминаю, что я дал ей снотворное.

— Это в вашем стиле, — сказала докторша. — Что еще остается для вас неясным?

— А вот что, — сказал Гавел, — вспомните ее слова: *Я еще не умираю! Я живу! Я все еще живу!* И те ее последние слова — она произнесла их с таким пафосом, словно прощалась с нами: *Если бы вы знали. Ничего вы не знаете. Ничего вы не знаете.*

— Ах, Гавел, — сказала докторша, — будто вам неизвестно, что девяносто девять процентов слов не более чем плетение словес. А разве вы сами по большей части не пустословите ради того, чтобы только не молчать?

Медики еще немного поболтали, а затем все трое вышли из флигеля; шеф и докторша пожали Гавелу руку и удалились.

В НОЧНОМ ВОЗДУХЕ НОСИЛИСЬ АРОМАТЫ

Наконец Флайшман дошел до окраинной улицы, где жил со своими родителями в отдельном домике, окруженном садом. Он открыл калитку, но не про-

шел дальше к дому, а уселся на лавочку, над которой нависали розы, любовно обихоженные его матушкой.

В ночи плыли ароматы цветов, и слова «виновен», «эгоизм», «любим», «смерть» вздымали грудь Флайшмана, наполняя его возвышающим блаженством; ему казалось, что за плечами у него вырастают крылья.

В приливе упоительной меланхолии он понял, что любим, как никогда прежде. Правда, уже несколько женщин проявляли к нему благосклонность, но теперь он может холодно и трезво спросить себя: всегда ли это была любовь? не предавался ли он подчас иллюзиям? не придумывал ли он того, чего на самом деле не было? Взять, к примеру, Клару: не была ли она скорее расчетливой, чем влюбленной? не привлекала ли ее больше квартира, которую он подыскивал ей, чем он сам? В сравнении с поступком Алжбеты бледнело все.

В воздухе носились одни высокие слова, и Флайшман говорил себе, что у любви есть лишь одна мера, и мера эта — смерть. Настоящую любовь венчает только смерть, и лишь та любовь настоящая, что увенчана смертью.

В воздухе носились ароматы, и Флайшман спрашивал себя: будет ли кто-нибудь его любить так, как эта некрасивая женщина? Но что такое красота или уродство по сравнению с любовью? Что такое уродство лица по сравнению с чувством, в величии которого отражен сам абсолют?

(Абсолют? Да. Ведь Флайшман был всего лишь мальчишкой, недавно выброшенным в ненадежный мир взрослых. И как бы сильно ни было его влечение к девушкам, прежде всего он искал утешного объятия, бесконечного и неизмеримого, которое спасло бы его от дьявольской относительности только что явленного мира.)

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОКТОРШИ

Доктор Гавел уже какое-то время лежал на диване, накрывшись мягким шерстяным пледом, когда услышал стук в окно. Увидел освещенное луной лицо докторши. Открыв окно, спросил: — В чем дело?

— Впустите меня, — сказала женщина и поспешила к двери.

Гавел застегнул пуговицы на рубашке и, вздохнув, вышел из комнаты.

Когда он открыл дверь флигеля, докторша без лишних объяснений проскользнула в ординаторскую и, только расположившись там в кресле напротив Гавела, стала объяснять, что пришла потому, что не смогла вернуться домой и что охватившее ее волнение все равно не дало бы возможности уснуть; и сейчас она просит Гавела еще немного поболтать с ней, чтобы помочь успокоиться.

Гавел не верил ни единому слову из того, что она говорила, и был так плохо воспитан (или неосторожен), что позволил своим чувствам тотчас отразиться на лице.

Поэтому докторша сказала: — Вы, конечно, мне не верите, так как убеждены, что я пришла лишь затем, чтобы переспать с вами.

Гавел сделал протестующий жест, но она продолжала: — Вы самонадеянный Дон Жуан. Естественно. Стоит женщине увидеть вас, как ни о чем другом она уже и не помышляет. И вам ничего не остается, как со скучающим и умученным видом исполнять свое печальное предназначение.

Доктор снова сделал протестующий жест, но докторша, закурив сигарету и небрежно выпустив дым, не дала себя прервать: — Несчастный Дон Жуан,

не бойтесь, я пришла не для того, чтобы вешаться вам на шею. Вы ведь вовсе не подобны смерти. Это всего лишь красное словцо нашего дорогого шефа. Вы не можете брать все хотя бы потому, что не каждая женщина позволит вам взять ее. Что до меня, то клянусь: я к вам абсолютно невосприимчива.

— Вы пришли затем, чтобы сообщить мне об этом?

— Допустим. Я пришла успокоить вас и сказать, что вы вовсе не подобны смерти. И что я не позволила бы вам взять меня.

МОРАЛЬ ГАВЕЛА

— Вы умница, — сказал Гавел. — Приятно слышать, что вы не только не позволили бы мне взять вас, но еще и пришли сказать об этом. Я вовсе не подобен смерти. Я и вправду не только не беру Алжбету, но не взял бы и вас.

— Вот как! — удивилась докторша.

— Но тем самым я отнюдь не хочу сказать, что вы мне не нравитесь. Скорее наоборот.

— Значит, поэтому, — сказала докторша.

— Да, вы мне нравитесь, и даже очень.

— Тогда почему бы вы не взяли меня? Потому что я сама не вешаюсь вам на шею?

— Нет, думаю, это не имеет к делу никакого отношения, — ответил Гавел.

— А что же имеет?

— Вы любовница шефа.

— И что из этого?

— Шеф ревнует вас. Он бы огорчился.

— У вас есть моральные устои? — рассмеявшись, спросила докторша.

— Видите ли, — ответил Гавел, — в жизни у меня было столько связей с женщинами, что я на-

учился чрезвычайно высоко ценить мужскую дружбу. Эти отношения, не запятнанные идиотизмом эротики, суть единственная ценность, какую я познал в жизни.

— Вы считаете шефа своим другом?

— Шеф много для меня сделал.

— Для меня несомненно больше, — уточнила докторша.

— Возможно, — сказал Гавел, — но речь идет не о благодарности. Я просто люблю его. Он отличный мальчишка. И привязан к вам. Если бы я стал домогаться вас, я считал бы себя подлецом.

ПОКЛЕП НА ГЛАВВРАЧА

— Я не думала, — сказала докторша, — что именно от вас услышу такую пылкую оду во славу дружбы. Вы предстаете передо мной, доктор, в совершенно новом, неожиданном свете. Вы, вопреки всякому ожиданию, обнаруживаете не только склонность к чувству, но и направляет его (и это тем более трогательно) на старого, седого, облысевшего человека, который примечателен лишь своей комичностью. Вы сегодня обратили на него внимание? Как он не устает выставляться? И все время тщится доказать некоторые вещи, в которые никто не верит:

Во-первых, он стремится доказать свое остроумие. Вы заметили? Он непрестанно болтал, забавлял общество, отпускал пассажи типа «доктор Гавел подобен смерти», придумывал парадоксы касательно счастливого брака (будто я не слышала их уже сотни раз!), пытался разыгрывать Флайшмана (будто для этого требуется сколько-нибудь остроумия!).

Во-вторых, он старается доказать, что расположен к людям. А на деле ненавидит любого, у кого

еще остались волосы на голове. Но тем усиленнее он старается. Он льстил вам, льстил мне, был по-отечески нежен с Алжбетой, да и Флайшмана дурчил так осторожно, чтобы тот ни о чем не догадался.

А в-третьих, и это самое главное, он хочет доказать, что он супермен. Он отчаянно старается прикрыть свой нынешний облик обликом прошлым, какого, увы, давно уже нет и в помине. Вы, конечно, заметили, как ловко он подsunул нам историю отвергнутой его шлюшки, причем с одной лишь целью: пробудить воспоминания о своем неотразимом в былые годы облике и прикрыть им свою жалкую плешь.

ЗАЩИТА ГЛАВВРАЧА

— Все, что вы говорите, сударыня, недалеко от истины, — отвечивал Гавел. — Однако все это дает мне лишний повод любить шефа, ибо все это трогает меня больше, чем вы думаете. Должен ли я смеяться над лысиной, которая не минет и меня? Должен ли я смеяться над упорным стремлением шефа быть не тем, кто он есть на самом деле?

В старости человек либо смиряется с тем, чем он стал, с этими жалкими обломками самого себя, либо не смиряется, но если не смиряется, как прикажете ему поступать? Ему ничего не остается, как делать вид, что он не такой, каким кажется. Ему ничего не остается, как старательным притворством создавать впечатление того, чего уже нет, что окончательно утрачено; выдумывать, изображать и выставлять напоказ свою веселость, жизнелюбие, товарищескую сердечность. Воскрешать свой моложавый облик, пытаться слиться с ним, подменить им себя нынешнего. В комедии, которую разыгрывает шеф, я вижу самого себя, свое собственное будущее. Если,

конечно, у меня достанет сил не покориться послушно судьбе, что, несомненно, было бы куда большим злом, чем играть эту печальную комедию.

Вы, наверное, правильно раскусили шефа. Но таким я люблю его еще больше и никогда не смог бы нанести ему удар, из чего следует, что я никогда не смог бы вступить с вами в связь.

ОТВЕТ ДОКТОРШИ

— Дорогой коллега, — взяла слово докторша, — между нами меньше разногласий, чем вы предполагаете. Ведь и я люблю его. Ведь и мне не меньше, чем вам, его жаль, а уж признательность моя должна быть во сто крат больше вашей. Без его помощи я бы никогда не получила этого отличного места. (Вы же знаете это, как знают все, причем даже слишком хорошо!) Вы думаете, что я вожу его за нос, что изменяю ему? Что у меня есть другие любовники? С каким бы удовольствием ему доложили об этом! Я не хочу причинять зла ни ему, ни себе, и потому я гораздо более скована, чем вы можете представить. Я абсолютно не свободна в своих поступках. Но меня радует, что мы с вами наконец поняли друг друга. Потому как вы единственный человек, с которым я могу позволить себе изменить шефу. Вы ведь действительно его любите и никогда не причинили бы ему боли. Вы будете предельно деликатны. На вас я могу положиться. С вами я могу предаться любви, — сказала она и, усевшись к Гавелу на колени, стала расстегивать ему рубашку.

ЧТО ДЕЛАЛ ДОКТОР ГАВЕЛ?

Ах, стоит ли спрашивать...

ПЯТЫЙ АКТ

В ПОРЫВЕ БЛАГОРОДСТВА

Ночь сменило утро, и Флайшман вышел в сад, чтобы нарезать букет роз. Потом сел в трамвай и поехал в больницу.

Алжбета лежала в отдельной палате в терапии. Флайшман подсел к ее кровати, положил букет на ночной столик и взял ее за руку, чтобы проверить пульс.

— Ну как, вам уже лучше? — спросил он.

— О да, — ответила Алжбета.

И Флайшман сказал прочувствованным голосом: — Нельзя делать такие глупости, девочка моя.

— Конечно, — сказала Алжбета, — но я уснула. Поставила воду для кофе и уснула как дура.

Онемевший от удивления, Флайшман не сводил с Алжбеты глаз, ибо такого благородства он никак не ожидал от нее: Алжбета не хотела отягощать его жизнь укорами совести, не хотела отягощать своей любовью и отреклась от нее!

Он погладил ее по лицу и, окрыленный чувством, стал говорить ей «ты»: — Я знаю все. Ты не должна мне лгать. Но я благодарен тебе и за эту ложь.

Он понимал, что такого благородства, самоотверженности и преданности он не найдет ни у одной другой женщины, и его охватило непреодолимое желание отдаться порыву безрассудства и попросить ее стать его женой. В последнюю минуту он, правда, удержался от столь опрометчивого шага (будет еще предостаточно времени попросить ее руки) и сказал лишь следующее:

— Алжбета, дорогая Алжбета, девочка моя, эти розы я принес тебе.

Алжбета, в удивлении уставившись на Флайшмана, спросила: — Мне?

— Да, тебе. Потому как я счастлив, что я здесь с тобой. Счастлив, что ты вообще есть на свете, Алж-

бетушка. Наверное, я люблю тебя. Наверное, даже очень люблю. Но поэтому, наверное, будет лучше, если мы все оставим так, как есть. Наверное, мужчина и женщина становятся ближе друг другу, когда не живут вместе, а просто знают друг о друге, что они есть, и благодарны друг другу за то, что они есть, и за то, что друг о друге знают. И для их счастья достаточно одного этого. Спасибо тебе, Алжбетушка, спасибо за то, что ты есть.

Слова Флайшмана так и остались для Алжбеты загадкой, но лицо ее расплылось в блаженной, прищурковатой улыбке, исполненной туманного счастья и смутной надежды.

Флайшман встал, сжал плечо Алжбеты (знак скрытой, сдержанной любви), повернулся и вышел.

СПЛОШНАЯ НЕУВЕРЕННОСТЬ

— Наша очаровательная пани коллега, которая сегодня просто светится молодостью, пожалуй, дала самое правильное объяснение всему случившемуся, — сказал главврач, обратившись к докторше и Гавелу, когда все трое вновь сошлись в отделении. — Алжбета варила кофе и уснула. Во всяком случае, она сама так утверждает.

— Вот видите, — сказала докторша.

— Ничего не вижу, — возразил главврач. — Ведь, в конце концов, никто не знает, как было дело. Может, кастрюлька стояла на горелке еще до всего. Если Алжбета хотела открыть газ, зачем ей было снимать ее?

— Но ведь это ее собственное объяснение! — возразила докторша.

— После того как она устроила нам представление и здорово нас напугала, почему бы ей, в конечном счете, не свалить все на кастрюльку? Не забывайте о том, что самоубийцы у нас подлежат прину-

дительному лечению в психушке. Кому хочется туда загреметь?

— Вы зациклились на самоубийствах, шеф, — сказала докторша.

А главврач, засмеявшись, сказал: — Мне хотелось бы, чтобы Гавел хоть раз испытал угрызения совести!

ПОКАЯНИЕ ГАВЕЛА

Во фразе, брошенной главврачом, нечистая совесть Гавела уловила зашифрованный укор, который втайне посылает ему провидение, и он сказал: — Шеф прав. Совсем не обязательно, что это была попытка самоубийства, но, кто знает, может, она и была. Впрочем, говоря откровенно, я не упрекаю за это Алжбету. Скажите мне, есть ли в жизни такая ценность, которая делала бы самоубийство принципиально неприемлемым! Любовь? Или дружба? Смею вас уверить, что дружба столь же непрочна, как и любовь, и на ее основе ничего не построишь. Или, может быть, себялюбие? Ах, если бы хоть оно! Шеф, — сказал Гавел едва ли не с жаром, и это прозвучало как покаяние, — шеф, клянусь вам, что я совсем не люблю себя.

— Дорогие господа, — с улыбкой сказала докторша, — если это сделает вашу жизнь прекрасней и спасет ваши души, давайте остановимся на том, что Алжбета действительно хотела покончить с собой. Вы согласны?

HAPPY END

— Вадор, — сказал главврач, махнув рукой, — оставим это. Вы, Гавел, оскверняете прекрасный утренний воздух своими речами! Я на пятнадцать лет старше вас. Меня преследует невезение, ибо я живу в счастливом браке и никогда не смогу развестись.

И у меня несчастная любовь, ибо женщина, которую я люблю, увы, вот эта дама. Но, несмотря ни на что, жизнь нравится мне, хитрец вы этакий!

— Замечательно, замечательно, — с необычной нежностью сказала докторша главврачу и взяла его за руку: — И мне нравится жизнь!

В эту минуту к этой троице медиков присоединился Флайшман и сказал: — Я был у Алжбеты. Это потрясающая женщина. Она никого не винит. Все взяла на себя.

— Вот видите, — засмеялся главврач, — теперь Гавел всех нас будет склонять к самоубийству!

— Вполне возможно, — сказала докторша и подошла к окну. — Сегодня снова будет прекрасный день. На дворе все так голубеет. Что вы на это скажете, Флайшман?

Еще несколько минут назад Флайшман слегка корил себя, что действовал хитро, отделавшись букетом роз и двумя-тремя прекраснодушными фразами, но сейчас он был до смерти рад, что не поступил опрометчиво. В словах докторши он уловил сигнал и отлично понял его. Нить приключения восстанавливалась в том самом месте, в каком была разорвана вчера, когда газ помешал его свиданию с докторшей. Флайшман не смог сдержать себя, чтобы не улыбнуться ей даже на глазах у ревнивого шефа.

Итак, история продолжается с того самого мгновения, на котором вчера остановилась, но Флайшману все-таки кажется, что он вступает в нее куда более зрелым и сильным. Он пережил любовь великую, как смерть. В его груди вздымалась волна, и эта волна была самой прекрасной и мощной из всех, какие до сих пор ему довелось испытать. Ибо то, что так сладостно воодушевляло его, была сама смерть; смерть, дарованная ему, благодатная и живительная смерть.

ПУСТЬ СТАРЫЕ ПОКОЙНИКИ УСТУПЯТ МЕСТО МОЛОДЫМ ПОКОЙНИКАМ

1

Он возвращался домой по улице маленького чешского городка, где проживал уже несколько лет, смирившись с не очень шумной жизнью, болтливыми соседями и монотонным хамством на службе, — шел, ничего не замечая вокруг (как ходят по дороге, сто раз пройденной), и чуть было не разминулся с ней. Зато она узнала его еще издали и, идя навстречу, смотрела на него с мягкой улыбкой, которая лишь в последнюю минуту, когда они едва не разошлись, достигла сигнального устройства в его памяти и вырвала его из дремотного оцепенения.

«Я не узнал вас!» — сказал он в оправдание, но это была нелепая обмолвка, тотчас коснувшаяся мучительной темы, какую лучше было не затрагивать: за пятнадцать лет, что они не виделись, оба изрядно постарели. «Я так изменилась?» — спросила она, и хотя он, сказав «нет», солгал, ложь была не совсем полной, ибо эта легкая улыбка (целомудренно и сдержанно настроенная на волну какого-то вечного восторга) приплыла к нему сейчас из дали многих лет ничем не замутненной и ослепила его: она столь зримо пробудила в нем прошлый облик женщины, что ему пришлось сделать над собой немалое усилие, дабы отвлечься от него и увидеть ее теперешней: это была уже почти старая женщина.

Он спросил ее, куда она держит путь и какие у нее планы, и она ответила, что ей пришлось улаживать кой-какие дела и что теперь ничего не остается, как ждать вечернего поезда, который отвезет ее назад в Прагу. Он выразил радость по поводу их неожиданной встречи и пригласил ее (поскольку оба сошлись на том, что две здешние кофейни битком набиты и грязны) в свою расположенную неподалеку холостяцкую квартирку, где есть кофе и чай, а главное — порядок и покой.

2

Этот день с самого начала складывался для нее неудачно. Ее супруг (тридцать лет назад, после свадьбы, она жила с ним в этом городе, потом они переехали в Прагу, где десять лет тому назад он скончался) согласно странному его завещанию был похоронен на здешнем кладбище. Она тогда же оплатила могилу на десять лет вперед, и лишь недавно с испугом вспомнила, что забыла продлить истекший срок аренды. Сперва подумала было написать в местную кладбищенскую контору, но, зная, сколь бесконечна и напрасна переписка с конторщиками, приехала сюда сама.

Дорогу к могиле мужа она нашла бы с закрытыми глазами, но почему-то сегодня ей казалось, будто на кладбище она впервые. Не находя могилы, она решила было, что заблудилась. Только спустя какое-то время поняла: точно на том же месте, где стоял серый песчаниковый памятник с выгравированным позолоченным именем ее мужа (она безошибочно узнала две соседние могилы), теперь стоял памятник черного мрамора с совершенно иным выгисненным золочеными буквами именем.

Возмущенная донельзя, она пошла в кладбищенскую контору. Там ей объявили, что по окончании

аренды могилы ликвидируются автоматически. В ответ на ее упреки, что ее, мол, заранее не предупредили о необходимости срочно продлить аренду, ей сказали, что кладбище небольшое и что *старые покойники должны уступать место молодым покойникам*. Негодуя и превозмогая рыдания, она укорила их в полном пренебрежении к таким понятиям, как человечность и уважение к людям, но тут же осознала, что разговор бесполезен, и так же, как она не смогла воспрепятствовать смерти мужа, она бессильна помешать и его второй смерти — смерти «старого покойника», которому теперь запрещено существовать даже как покойнику.

А в городе к ее печали стало примешиваться и чувство тревожной озабоченности: как объяснить сыну исчезновение отцовской могилы и оправдаться перед ним в своем упущении. В конце концов ее придала усталость: чем заполнить долгие часы до отхода поезда? В городе уже не осталось друзей, да и сам город так изменился за прошедшее время, что уже ничто не тянуло к сентиментальной прогулке: некогда знакомые места предстали перед ней в совершенно чужом обличье. Вот почему она с благодарностью приняла приглашение неожиданно появившегося на ее пути старого (полузабытого) друга: в его доме она смогла вымыть руки, а потом, сидя в мягком кресле (болели ноги), осматривать комнату и слушать, как в отгороженной ширмой кухоньке булькает кипяток для кофе.

3

Когда ему стукнуло тридцать пять, он вдруг обнаружил, что на темени заметно поредели волосы. Это была еще не явная лысина, но она уже вполне обозначилась (под волосами просвечивала кожа): да,

лысина неминуема и близка. Конечно, смешно из поредевших волос делать великую драму, однако он понимал, что с появлением лысины изменится и лицо, а стало быть, и жизнь его теперешнего облика (причем, без сомнения, лучшего) близится к концу.

И тут он стал размышлять над тем, каковы же, собственно, плоды жизни этого ускользящего (волосатого) облика, что этому облику довелось испытать и чем насладиться, и его ошеломило сознание, что хорошего было всего ничего; эта мысль вогнала его в краску; да, стало стыдно: какой позор — прожить на земле так долго и испытать так мало!

Что, впрочем, он имел в виду, говоря себе, что испытал так мало? Мыслил ли он под этим путешествия, работу, общественную деятельность, спорт, женщин? Вероятно, он подразумевал под этим все, но главное, конечно, женщин, ибо если в иных сферах его жизнь и была удручающе убогой, то вины своей он тут не чувствовал: не виноват же он в том, что его профессия малоинтересна и бесперспективна; что для путешествий нет ни денег, ни благосклонных кадровых рекомендаций; не виноват же он, наконец, и в том, что в двадцать лет повредил мениск и вынужден был бросить любимые виды спорта. Однако мир женщин был для него миром относительной свободы, и уж здесь ему не на что было пенять, нечем было отговариваться, здесь он мог проявить свои богатые возможности; так женщины стали для него единственным оправданным мерилom полноты жизни.

Да вот беда! Именно с женщинами дело почему-то не ладилось: до двадцати пяти (хотя он был привлекательным юношей) его сковывало волнение; потом он влюбился, женился и в течение семи лет убеждал себя, что в одной женщине можно обрести эротическую бесконечность; затем развелся, апология единственной женщины (как и иллюзия бесконечно-

сти) растаяла, и ее сменило властное желание обладать женщинами (пестрой конечностью их множества), однако, увы, сильно приторможенное скудными финансами (приходилось платить алименты бывшей жене на содержание ребенка, с которым ему дозволялось видеться один-два раза в год) и условиями маленького города, в котором любопытство соседей столь же безгранично, сколь невелик выбор женщин.

А время неслоь неудержимо; и вот однажды, стоя в ванной перед зеркалом, висевшим над умывальником, и держа в руке над головой круглое зеркальце, он в ужасе разглядел уже вполне отчетливую лысину; ее вид, огорошив его (без подготовки) своей внезапностью, открыл ему банальную истину: упущенного не наверстать. Он впал в хроническую тоску, его стали посещать даже мысли о самоубийстве. Разумеется (и это надо подчеркнуть, дабы не заподозрить в нем истерика или глупца), сознавая их комичность, он был уверен, что никогда не претворит их в жизнь (давился от смеха, когда представлял себе свое прощальное письмо: *Не в силах мириться с лысиной. Прощайте!*), но достаточно и того, что эти мысли, какими бы платоническими они ни были, все же приходили ему в голову. Попробуем понять его: они звучали в нем примерно так, как звучит в марафонце необоримое желание сойти с дистанции, когда он вдруг на ходу обнаруживает, что позорно (причем по своей вине, из-за собственных промахов) проигрывает. И он также, считая свой забег проигранным, не желал длить его дольше.

А сейчас, склонившись над маленьким столиком и ставя одну чашку перед диваном (куда вскоре сядет сам), другую — перед удобным креслом, в котором сидела гостья, он говорил себе, что во всей этой истории есть некий злой умысел: женщину, в которую годы назад был по уши влюблен и которую тогда

же (по своей вине, из-за собственных промахов) упустил, он встречает в таком мрачном расположении духа и в тот момент, когда уже ничто нельзя на-верстать.

4

Она едва ли могла догадаться, что видится ему той, *которая ускользнула от него*; она ведь никогда не забывала о той ночи, которую они провели вместе, помнила его тогдашний облик (ему было двадцать, он не умел одеваться, краснел и забавлял ее своим мальчишеством), помнила и самое себя (ей тогда было почти сорок, и какая-то жажда красоты толкала ее в объятия чужих мужчин, но одновременно и гнала прочь от них; она ведь всегда представляла свою жизнь непременно похожей на *красивый танец* и боялась превратить супружескую измену в отвратительную привычку).

Да, она предписала себе красоту, как иные предписывают себе нравственные устои; если бы она обнаружила в своей жизни уродство, то, верно, впала бы в отчаяние. И, сознавая сейчас, что по прошествии пятнадцати лет должна казаться хозяину дома старой (со всеми уродствами, присущими старости), она решила сразу заслонить свое лицо воображаемым веером и осыпала собеседника торопливыми вопросами: спросила, как он попал в этот город, спросила о его работе; похвалила его уютную квартиру-гарсоньерку, вид из окна на городские крыши (сказала, что при всей обыденности вида в нем есть воздушность и простор); назвала авторов нескольких импрессионистских картин, застекленные репродукции которых украшали стены (впрочем, назвать их было нетрудно: в квартирах бедных чешских интеллектуалов вы наверняка обнаружили бы одни и те же де-

шевые репродукции); затем, поднявшись с кресла с чашкой недопитого кофе и наклонившись над маленьким письменным столом, над которым на полочке стояло несколько фотографий (сразу заметила, что среди них не было ни одной фотографии молодой женщины), спросила, не принадлежит ли старое женское лицо на одной из них его матери (он подтвердил).

Потом и он спросил, что она имела в виду, когда при встрече с ним сказала, что приехала в город уладить кое-какие дела. Ей ужасно не хотелось говорить о кладбище (чувствовала себя здесь, на шестом этаже, не только высоко над крышами, но и блаженно вознесенной над своей жизнью); однако по его упорному настоянию в конце концов призналась (очень коротко, ибо развязность торопливой откровенности всегда претила ей), что много лет назад жила здесь с мужем, что он похоронен на здешнем кладбище (о сносе памятника умолчала) и что вот уже десять лет, как она каждый год приезжает сюда с сыном на День поминовения.

5

— Каждый год? — Это открытие огорчило его, и он снова подумал о некоем злом умысле; ведь повстречай он ее здесь шестью годами раньше, когда приехал сюда, все можно было бы спасти: старость не отметила бы ее так, ее внешность не столь печально отличалась бы от образа той женщины, какую он любил пятнадцать лет назад; он еще сумел бы, преодолев различие, воспринять оба образа (прошлый и нынешний) как единый. Но теперь один безнадежно отставал от другого.

Она допила кофе, разговорилась, а он пробовал точно определить степень перемены, по причине ко-

торой она ускользает от него во второй раз: ее лицо покрылось морщинами (слою пудры не под силу было устранить их); шея увяла (высокому воротнику не под силу было скрыть это); щеки обвисли; в волосах (пусть это было даже красиво!) пробивалась седина; однако куда больше его внимание приковали руки (увы, они не поддавались ни пудре, ни гриму): руки, покрытые синей паутиной вен, вдруг превратились в мужские.

Сожаление смешивалось в нем со злостью, и он, возмев охоту утопить в алкоголе их запоздалую встречу, спросил, не желает ли она рюмку коньяка (в шкафчике за шторой стояла початая бутылка); она отказалась, и ему припомнилось, что и тогда, многие годы назад, она почти не пила, возможно, не хотела позволить алкоголю разрушить изысканную сдержанность своих манер. Увидев изящный жест руки, которым она отклонила его предложение, он понял, что очарование вкуса, волшебство, ласковость обхождения, покорявшие его в прошлом, не потускнели в ней, хотя и скрыты под маской старости, и сами по себе, хотя и зарешечены ею, еще вполне притягательны.

Мысль, что она зарешечена старостью, пронизала его беспредельной жалостью, сделавшей ее близкой (эту некогда блистательную женщину, перед которой немел язык), и захотелось поговорить с ней по-дружески, неторопливо, долго, в таком голубоватом настроении меланхолического смирения. И он действительно разговорился (и говорил действительно долго), и в конце концов завел речь о невеселых мыслях, в последние годы посещавших его. Разумеется, он ни словом не обмолвился о появившейся лысине (как и она, кстати, умолчала о снесенной могиле); но призрак лысины подвигнул его на псевдофилософские сентенции о том, что время летит быстрее, чем успеваешь жить, что жизнь ужасна, ибо

все в ней отмечено неминуемой гибелью; в ответ на подобные излияния он ждал от гостьи участливого отклика; но не дождался.

— Я не люблю таких разговоров, — сказала она чуть ли не резко. — Все, что вы говорите, ужасно поверхностно.

6

Она терпеть не могла разговоров о старении и смерти: они касались того физического уродства, которому она противилась. Не без волнения она повторяла хозяину дома, что его взгляды *поверхностны*; человек — это ведь нечто большее, чем дряхлеющее с годами тело, главное — плоды его трудов, то, что он оставляет для других. На самом деле эта мысль возникла в ней не сейчас, а еще тогда, когда тридцать лет назад она влюбилась в своего будущего мужа, который был девятнадцатью годами старше; и она всегда испытывала к нему искреннее уважение (несмотря на все свои измены, о которых он либо не знал, либо не хотел знать), стараясь убедить себя, что его интеллект и значимость полностью уравновешивают тяжкое бремя лет.

— Какие еще плоды трудов, скажите на милость! Какие плоды трудов мы здесь оставляем! — с горьким смешком возразил ей хозяин дома.

Она не хотела ссылаться на покойного мужа, хотя твердо верила в незыблемую ценность всего того, что он совершил; она лишь сказала, что любой человек создает в своей жизни нечто, пусть даже совсем скромное, и что в этом и только в этом его назначение; потом заговорила о себе: она работает в одном Доме культуры на окраине Праги, организует лекции и поэтические вечера; говорила (с воодушевлением, показавшимся ему наигранным) о «благодар-

ных лицах» слушателей, а затем сразу же переключилась на тему о том, как прекрасно иметь сына и наблюдать, как ее собственные черты (сын похож на нее) преобразуются в лицо мужчины; как прекрасно одарить его всем, чем только может мать одарить сына, а потом тихо исчезнуть из его жизни.

И о сыне заговорила она не случайно: весь этот день он стоял перед глазами и укоризненно напоминал об утреннем провале на кладбище; удивительно было: ни одному мужчине она никогда не позволяла взять над ней верх, и только собственный сын каким-то неведомым способом завладел ее волей. Впрочем, кладбищенская неудача потому так и расстроила ее, что она, чувствуя свою вину перед ним, боялась его попреков. Она уже давно стала догадываться, что если сын и следит ревниво за тем, как она чтит память мужа (именно он всегда настаивал, чтобы на каждый День поминовения они не забывали съездить на кладбище!), то причиной тому не столько любовь к покойному отцу, сколько желание терроризировать ее, мать, указать ей на положенные вдовьи границы; и хотя сам он никогда не выражал этого открыто, а она старалась (безуспешно) об этом не думать, все было именно так: ему отвратительна была сама мысль, что сексуальная жизнь матери может еще продолжаться, ему претило то, что еще оставалось в ней (по крайней мере как возможность и шанс) сексуального; а поскольку понятие сексуальности связано с понятием молодости, ему претило в ней все, что еще сохранялось моложавым; он был уже не ребенок, и моложавость матери (в сочетании с ее агрессивной заботой) мешала ему естественно воспринимать юность девушек, уже вызывавших его интерес; ему хотелось, чтобы мать была старой, лишь от такой он мог сносить любовь, лишь такую любить. И она, сознавая порой, что так он, в сущности, толкает ее к могиле, в конце концов покорилась ему, капитули-

ровала под его натиском и стала даже идеализировать свою покорность, уговаривая себя, что красота ее жизни и состоит именно в этом тихом исчезновении в тени другой жизни. И теперь в оправдание этой идеализации (без которой морщины на лице жгли бы ее еще больше) она со столь неожиданной горячностью вела спор с хозяином дома.

Но хозяин дома вдруг перегнулся через разделявший их столик, погладил ее по руке и сказал: — Простите меня за мои слова. Вы же знаете, я всегда был глупцом.

7

Их спор не рассердил его, напротив, гостя вновь предстала перед ним в своем былом обличье; в ее протесте против мрачных разговоров (разве это не был прежде всего протест против уродливости и безвкусицы?) он узнавал ее такой, какой знал когда-то, и его мыслями все больше завладевал ее давний облик и их давняя история, и теперь он лишь желал себе, чтобы ничто не нарушило этой голубой, столь благоприятной для разговора атмосферы (потому-то он и погладил ее по руке и назвал себя глупцом) и он сумел бы сказать ей о том, что представлялось ему сейчас самым важным: об их общей истории; он ведь был убежден, что пережил с ней что-то необыкновенное, о чем она даже не подозревает и для чего он сам будет с трудом подыскивать точные слова.

Она, наверное, уже и не помнит, как они познакомились; видимо, однажды она оказалась в компании его друзей-студентов, но захудалое пражское кафе, где они впервые были одни, она, конечно, достаточно хорошо помнит: он сидел против нее в плюшевом боксе, подавленный, молчаливый и вместе

с тем опьяненный изящными намеками, коими она выказывала ему свою приязнь. Он пытался представить себе (хотя ничуть не надеялся, что эти видения когда-нибудь претворятся в жизнь), как она будет выглядеть, если он станет целовать ее, раздевать и любить, но воображение отказывало ему. Да, удивительно: тысячу раз он пытался представить ее в агонии телесной любви, но все напрасно: ее лицо по-прежнему было обращено к нему своей спокойной и мягкой улыбкой, и он не мог (даже упорнейшим усилием воображения) искривить его гримасой любовного экстаза. *Она совершенно не поддавалась силе его воображения.*

И тогда случилось то, что никогда больше не повторилось: он лицом к лицу оказался перед *невообразимым*. Он, видимо, переживал тот короткий (*райский*) период, когда воображение еще недостаточно насыщено опытом, еще не стало рутиной, мало знает и мало умеет, и потому все еще остается место для невообразимого; и если невообразимое должно претвориться в реальность (без помощи вообразимого, без мостика представлений), человек теряет почву под ногами и начинает чувствовать головокружение. И он действительно почувствовал такое головокружение, когда она после нескольких встреч, так и не укрепивших его решимости, начала столь подробно и с таким многозначительным любопытством расспрашивать его о комнате в студенческом общежитии, что он был чуть ли не вынужден ее туда пригласить.

Комнатушка в общежитии, которую он делил с товарищем, пообещавшим ему за стопку рома вернуться только после полуночи, мало походила на его нынешнюю квартиру: две железные кровати, два стула, шкаф, слепящая лампочка без абажура, ужасный кавардак. Он едва успел навести порядок, как ровно в семь часов (это была примета ее благовоспитан-

ности — она всегда приходила вовремя) раздался стук в дверь. Стоял сентябрь, и уже начинало темнеть. Они сели на край кровати и стали целоваться. Стемнело еще больше, но зажигать свет он не хотел, рад был, что не виден во тьме, а значит, смущение, которое непременно охватит его, когда он начнет перед ней раздеваться, останется незамеченным. (Кое-как он еще умел расстегивать женщинам блузку, сам же раздевался у них на глазах со стыдливой поспешностью.) Однако на этот раз он долго не решался расстегнуть ей первую пуговицу (ему казалось, что процесс раздевания должен сопровождаться какими-то изящными и элегантными жестами, известными лишь мужчинам *опытным*, он же боялся обнаружить свою неопытность); в конце концов она сама встала и спросила с улыбкой: «Не пора ли мне сбросить этот панцирь?» — и начала раздеваться; но в комнате было темно, и он видел лишь тени ее движений. Он тоже торопливо разделся, хотя обрел некоторую уверенность лишь тогда, когда они предались (благодаря ее терпению) любви. Он смотрел ей в лицо, но в полумраке его выражение совершенно ускользало, он даже не различал ее черт. Он сожалел, что темно, но в ту минуту представлялось невозможным оторваться от нее и подойти к двери, чтобы повернуть выключатель; он продолжал напряженно вглядываться в нее, но по-прежнему не узнавал; казалось, он предается любви с кем-то другим; с кем-то фиктивным или с кем-то и вовсе неконкретным, безликим.

Потом она оседлала его (он видел лишь ее вознесшуюся тень) и, извиваясь бедрами, стала говорить что-то сдавленным голосом, шепотом, причем было неясно, говорит ли она это ему или себе. Не разбирая слов, он спросил, что она говорит. Но она продолжала что-то шептать, и он, даже прижав ее к себе вновь, так и не смог разобрать ее шепота.

Она слушала хозяина дома и с каждым мигом все больше погружалась в детали давно забытые: тогда, например, она носила голубой костюмчик из легкой летней ткани, в котором выглядела ангельски невинной (да, она вспомнила этот костюмчик), в волосы вкалывала большой костяной гребень, придававший ей величественно старомодный вид, в кафе всегда заказывала чай с ромом (ее единственное спиртное прегрешение), и эти воспоминания приятно уносили ее прочь от кладбища, от разрушенной могилы, от натертых ступней, прочь от Дома культуры и укоризненных глаз сына. Что ж, мелькнула мысль, пусть я такая, какая есть, но если частица моей молодости продолжает жить в этом человеке, значит, жила я не напрасно; и следом мелькнула мысль, что это новое подтверждение ее взглядов: человек ценен тем, чем он возвышается над собой, тем, чем он преступает границы самого себя, чем живет в других и для других.

Она слушала и, когда он временами гладил ее по руке, не сопротивлялась; это поглаживание сливалось с покойно-ласковым настроением, в котором протекал разговор, и содержало в себе обезоруживающую неопределенность (кому оно принадлежало? Той, о которой говорится, или той, которой говорится?); впрочем, мужчина, гладивший ее, нравился ей; она даже подумала, что теперь он нравится ей больше, чем тот юноша пятнадцать лет назад, чье мальчишество, если она хорошо помнит, несколько тяготило ее.

А когда он в своем рассказе коснулся того, как над ним возвышалась ее извивающаяся тень и как он напрасно пытался понять ее шепот, и потом вдруг сделал минутную паузу, она (бездумно, словно он знал те слова и хотел спустя годы напомнить их ей как некую забытую тайну) тихо спросила: — А что я говорила тогда?

— Не знаю, — ответил он. Он не знал; она тогда ускользала не только от его воображения, но и от его восприятий; ускользала от его зрения и слуха. Когда он зажег в комнате свет, она была уже одета, на ней снова все было гладким, ослепительным, совершенным, и он напрасно искал связь между ее освещенным лицом и лицом, которое минуту назад рисовалось ему в темноте. В тот день они и расстаться еще не успели, как он уже вспоминал о ней, пытаясь представить себе ее (невидимое) лицо и (невидимое) тело в те минуты, когда они любили друг друга. Но все безуспешно; она все время ускользала от его воображения.

Он решил, что в следующий раз будет любить ее при ярком свете. Однако следующего раза уже не было. После той встречи она искусно и деликатно избегала его, и он весь отдался сомнениям и безнадежности: хотя их любовная близость и была прекрасной, да, скорее всего, но он знал и то, каким несносным он был до этого, и ему делалось стыдно; он наконец понял, что она умышленно избегает его, и перестал добиваться встречи.

— Скажите, почему вы тогда избегали меня?

— Ах, оставьте, прошу вас, — сказала она нежнейшим голосом. — Это было так давно, откуда мне знать? — Но он продолжал настаивать, и она добавила: — Зачем все время возвращаться к прошлому? Достаточно и того, что нам вопреки желанию приходится уделять ему столько времени. — Она сказала это лишь затем, чтобы как-то прекратить его настояния (и, возможно, последняя фраза, сказанная с легким вздохом, относилась к утреннему посещению кладбища), но он воспринял ее слова иначе: они словно призваны были резко и нацеленно открыть ему (столь очевидную вещь), что нет двух женщин (прошлой и нынешней), а есть лишь одна и та же

женщина и что эта женщина, которая пятнадцать лет тому назад ускользнула от него, сейчас здесь, рядом, стоит только протянуть руку.

— Вы правы, настоящее важнее, — сказал он многозначительно и очень внимательно посмотрел в ее улыбающееся лицо — между полуоткрытыми губами белел безупречный ряд зубов; миг мелькнуло воспоминание: тогда в студенческой комнате она взяла в рот его пальцы и так сильно укусила их, что ему стало больно; однако при этом он невольно ощутил и до сих пор живо помнит, что наверху сбоку у нее недоставало зубов (тогда это не оттолкнуло его, напротив, этот небольшой изъян говорил о ее возрасте, привлекавшем и возбуждавшем его). А теперь, вглядываясь в щелочку между зубами и уголком рта, он заметил, что все зубы целы, причем удивительной белизны; это поразило его: два образа вновь разошлись, и он, противясь тому и пытаясь усилием воли вновь слить их воедино, сказал: — Вы в самом деле не хотите коньяку? — и когда она, очаровательно улыбаясь и слегка подняв брови, отрицательно покачала головой, зашел за ширму, достал бутылку коньяка и, приложив ко рту, сделал несколько быстрых глотков. Потом сообразив, что по его дыханию она могла бы догадаться о его тайной провинности, взял две рюмки и бутылку и внес их в комнату. Она снова покачала головой. — Ну хотя бы символически, — сказал он и налил в обе рюмки. Чокнулся с ней: — За то, чтобы я говорил о вас только в настоящем времени! — Он выпил рюмку, она лишь омочила губы; он подсел к ней на ручку кресла и взял ее за руки.

10

Она никак не думала, когда шла в его гарсоньерку, что дело может дойти до этого прикосновения,

и в первую минуту испугалась, словно это прикосновение случилось раньше, чем она сумела к нему подготовиться (эту *постоянную готовность*, столь знакомую зрелой женщине, она давно утратила); в этом испуге, пожалуй, можно найти нечто общее с испугом молодой девушки, которую впервые поцеловали: если девушка *еще* не подготовлена, а сама она *уже* не подготовлена, то эти «еще» и «уже» таинственным образом сродни друг другу, как бывают сродни странности старости и детства. Потом он пересадил ее с кресла на тахту, прижал к себе, стал гладить ее тело, и она почувствовала себя в его руках какой-то бесформенно мягкой (да, именно мягкой, потому что тело ее давно покинула та повелевающая чувственность, которая щедро одаривает женщин ритмом сжатия и расслабления, а также энергией бесчисленных ласк).

Его прикосновения, однако, вскоре рассеяли ее мгновенный испуг, и она, столь далекая от той прекрасной зрелой женщины, в один миг стала ею, обретя прежнее самоощущение, сознание, прежнюю уверенность эротически опытной женщины, и эта уверенность была тем сильнее, что она давно ее не ощущала; ее тело, минутой раньше застигнутое врасплох, испуганное, пассивное, мягкое, вдруг ожило и стало отвечать хозяину дома уже своими прикосновениями, и она, чувствуя их осознанную точность, наслаждалась ими; эти прикосновения, манера, в какой она прижималась лицом к его телу, мягкие движения, какими отвечала на его объятия, — все это она воспринимала не как нечто заученное, нечто, что она умеет и что сейчас с холодным удовлетворением воспроизводит, а как что-то *органическое*, с чем опьяненно и восторженно сливается, будто это была ее родная планета (ах, планета красоты!), с которой она была изгнана и куда сейчас торжественно возвращается.

Ее сын был сейчас бесконечно далеко; когда хозяин дома взял ее за руки, в уголке сознания мелькнул образ сына как некое предостережение, но тотчас истаял, и во всем необъятном мире остались лишь она и мужчина, который гладил ее и обнимал. Но когда он губами приник к ее губам и языком хотел раскрыть ей губы, все вдруг разом опрокинулось: она очнулась. Крепко сжала зубы (почувствовала горькую чужеродность протеза — он вонзился в небо и, казалось, заполонил весь рот) и не поддавалась ему; мягко отстранив его, сказала: — Нет. В самом деле, прошу вас, лучше не надо.

Однако он не сдавался, и она, взяв его за руки и вновь повторив свое «нет», сказала (говорить было трудно, но она знала, что должна говорить, коли вызывает к его послушанию), что им уже поздно предаваться любви; напомнила ему о своем возрасте; если они займутся любовью, она может опротиветь ему, и это повергнет ее в отчаяние, ибо то, что он говорил ей о них двоих, для нее было неизмеримо прекрасно и важно; тело ее смертно, оно дряхлеет, но теперь она знает, что от него осталось нечто нематериальное, то, что подобно светящему лучу звезды, которая уже погасла; надо ли печалиться, что она стареет, если ее молодость сохранилась в ком-то нетронутой. «Вы в своей душе воздвигли мне памятник. Нельзя допустить, чтобы он рухнул. Поймите меня, — говорила она, сопротивляясь. — Не надо. Нет, не надо».

11

Он стал уверять ее, что она все еще красива, что ничего, по сути, не изменилось, что человек всегда остается самим собой, но он понимал, что обманывает ее и что правда на ее стороне: он ведь прекрасно

знал свою чрезмерную чувствительность к внешним изъянам женского тела, даже свою год от года растущую брезгливость к ним, заставлявшую его в последнее время все чаще заглядываться на более молодых, а следовательно (как с горечью отмечал он), на более пустых и глупых женщин; да, сомневаться не приходится: физическая близость, если он добьется своего, вызовет в нем отвращение, и это отвращение осквернит не только настоящую минуту, но и образ некогда любимой женщины, образ, сохраненный в памяти как драгоценность.

Все это он знал, все это витало в мыслях, но много ли значат мысли в сравнении с желанием, устремленным лишь к одной цели: женщина, чья былая недостижимость и невообразимость мучили его целых пятнадцать лет, эта женщина сейчас здесь; наконец он сможет увидеть ее при ярком свете, наконец он сможет по теперешнему ее телу прочесть ее прежнее тело, по теперешним чертам — прежние черты. Наконец он сможет прочесть ее (невообразимую) мимику и содрогание в минуты любви.

Он обнял ее за плечи и посмотрел ей в глаза: — Не сопротивляйтесь мне. Какой смысл сопротивляться!

12

Но она снова покачала головой, понимая, что сопротивление ее вовсе не бессмысленно, она ведь знает мужчин и их отношение к женскому телу, знает, что даже самый пылкий любовный идеализм не спасает тело от ужасной силы воздействия; хотя ее фигура все еще сохраняла природные пропорции, а в платье и вовсе выглядела молодой, она не заблуждалась: стоит ей раздеться, как обнажится морщинистость ее шеи и откроется шрам, оставшийся после операции желудка десять лет назад.

И по мере того как она возвращалась к осознанию своего нынешнего телесного облика, из которого только что высвободилась, со дна улицы к окну комнаты (до сих пор казавшейся ей высоко вознесенной над ее жизнью) стали подниматься тревожные сегодняшнего утра, они, постепенно заполняя комнату, оседали на застекленных репродукциях, на кресле, на столе, на пустой кофейной чашке, а их шествием предводило лицо сына; увидев его, она залилась краской и замкнулась в своей скорлупе: безумная, она уж хотела было сойти с уготованной ей сыном дороги, по которой до сих пор шла с улыбкой и восторгом, хотела было (хоть на миг) сбежать, а теперь должна смиренно вернуться и признать, что это единственная предназначенная ей дорога. Лицо сына было таким насмешливым, что она, сгорая со стыда, почувствовала, как у него на глазах становится меньше и меньше, пока, униженная, не превратилась всего лишь в шрам на своем животе.

Хозяин дома, держа ее за плечи, вновь повторил: «Какой смысл сопротивляться!» — а она продолжала механически качать головой, ибо видела сейчас не хозяина дома, а своего недруга — сына, ненавидимого тем сильнее, чем меньше и униженней ощущала себя. Она слышала, как он попрекает ее разрушенной могилой, но тут вдруг из хаоса памяти, вне всякой логики, выплыла фраза, которую она злобно бросила ему в лицо: *Мальчик мой, старые покойники должны уступить место молодым покойникам!*

13

Он ничуть не сомневался в том, что все это и вправду закончится отвращением, ведь уже сейчас при одном взгляде на нее (взгляде пытливом и пронизательном) в нем рождалось определенное отвраще-

щение; но, как ни удивительно, оно не мешало ему, а, напротив, дразнило и возбуждало, словно он возжелал этого отвращения: жажда обладания сближалась в нем с жаждой отвращения; жажда прочесть по ее телу наконец то, что так долго ему не дано было знать, смешивалась с жаждой это прочтенное мигом обесценить.

Откуда это в нем? Осознавал он это или нет, но сейчас ему представился исключительный случай: его гостя могла возместить ему все, что было у него отнято, что ускользнуло от него, что прошло мимо, все, без чего таким невыносимым казался его возраст, отмеченный редеющими волосами и печально убогим итогом; и он, осознавая или только смутно ощущая это, мог теперь все эти недоступные ему радости лишить смысла и цвета (ибо именно их не сказанная цветистость делала его жизнь столь печально бесцветной), мог открыть, что они ничтожны, что они лишь химера, угасание и меняющийся личину прах, он мог отомстить им, унизить их, уничтожить.

— Не сопротивляйтесь, — повторял он, пытаясь привлечь ее к себе.

14

Она все время видела насмешливое лицо сына и, когда хозяин дома силой привлек ее к себе, сказала: «Прошу вас, оставьте меня на минуту», и высвободилась; не хотела оборвать то, что вертелось в голове: старые покойники должны уступить место молодым покойникам, а памятники — вздор, и ее памятник, который этот человек, что рядом с ней, воздвиг в своей душе пятнадцать лет назад, — вздор, и памятник мужу — вздор, да, мой мальчик, все памятники — вздор, говорила она сыну и с мстительным наслаждением смотрела, как его лицо морщится и

искажается криком: «Ты никогда так не говорила, мать!» Конечно, она знала, что никогда так не говорила, но эта минута была озарена светом, преображающим все вокруг:

Какой смысл памятники предпочитать жизни? Ее собственный памятник имеет для нее лишь один-единственный смысл: сейчас она может опрокинуть его ради своего презренного тела; мужчина, который сидит рядом, нравится ей, он молод и, вероятно (даже наверняка), он последний мужчина, который нравится ей и с которым она может предаться любви; и это единственно важное; если потом он и почувствует к ней отвращение и ее памятник в его душе рухнет, ей безразлично, ибо памятник существует вне ее, так же как вне ее и его душа, и его память, а все, что существует вне ее, ей безразлично. «Ты никогда так не говорила, мать!» — слышала она сыновний выкрик, но оставила его без внимания. Она улыбалась.

— Вы правы, какой смысл сопротивляться, — сказала она тихо и встала. Затем начала медленно расстегивать платье. До вечера оставалось еще много времени. Комната на сей раз была залита ярким светом.

ДОКТОР ГАВЕЛ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

1

Когда доктор Гавел уезжал лечиться на воды, в глазах его красавицы жены стояли слезы. С одной стороны, это были слезы сочувствия (незадолго до этого Гавела терзали приступы желчного пузыря, она же никогда прежде не видела его страдающим), с другой — слезы выступили и потому, что предстоявшая трехнедельная разлука пробуждала в ней муки ревности.

Как же так? Возможно ли, чтобы актриса, избалованная поклонниками, красивая, молодая, ревновала стареющего человека, который в последние месяцы не выходил из дому без того, чтобы не сунуть в карман пузырек с таблетками против вероломно настигавших его болей?

Да, так оно было, но откуда это бралось у нее, оставалось непонятным. Доктор Гавел и тот не мог взять этого в толк, ибо и на него она производила впечатление неуязвимо амбициозной женщины; тем больше он был очарован ею, когда несколько лет назад, узнав ее ближе, обнаружил в ней неприятельность, домовитость и неуверенность; удивительное дело: хотя потом они и обвенчались, актриса все равно не осознавала превосходства своей молодости; оглушенная любовью и немеркнувшей эротической славой мужа, она продолжала воспринимать его человеком вечно ускользающим и непостижимым; и хотя он с

бесконечным терпением (и абсолютно искренне) не уставал убеждать жену, что у него нет и уже никогда не будет никого дороже ее, она болезненно и слепо ревновала его; лишь врожденное благородство помогло ей держать на запоре эти дурные чувства, но они тем сильнее бурлили в ней и чудесили.

Гавел все это знал, временами это умиляло его, временами злило, а то и утомляло, но поскольку он любил жену, то делал все, чтобы облегчить ее муки. Он и на сей раз силился помочь ей: он ужасно преувеличивал свои боли и угрожающее состояние своего здоровья, ибо знал, что страх перед его болезнью вызывает ее и наполняет благостью, тогда как страх перед его здоровьем (полным измен и загадочных интриг) губит ее; он часто заводил разговор о пани докторе Франтишке, что будет пользоваться его на водах; актриса знала Франтишку, и ее внешний облик, абсолютно добродетельный и абсолютно не вызывающий никаких мыслей о либидо, успокаивал ее.

Уже сидя в автобусе и глядя в полные слез глаза красавицы, стоявшей на остановке, Гавел почувствовал, откровенно говоря, облегчение, ибо любовь ее была не только упоительна, но и тягостна. На водах он, правда, чувствовал себя неважно. После приема минеральной воды, которой три раза в день приходилось промывать внутренности, он испытывал боли, усталость и, встречая на колоннаде хорошеньких женщин, с облегчением констатировал, что чувствует себя старым и они уже не волнуют его. Единственная женщина, дозволенная ему в этом бескрайнем множестве, была славная Франтишка, что делала ему инъекции, измеряла давление, прощупывала живот и снабжала его новостями о курортных делах и о своих двух детях, особенно о сыне, который, по ее словам, был ее копией.

Вот в таком-то расположении духа он и получил письмо от жены. О горе, на сей раз ее благородство тщетно пыталось держать на запоре клокотавшую в

ней ревность; это было письмо, полное жалоб и вздохов: она, мол, ни в чем не упрекает его, но целыми ночами не может спать; она знает, что ее любовь в тягость ему, и вполне способна представить себе, как он счастлив теперь, получив возможность отдохнуть без нее; да, она поняла, что противна ему; и знает также, что слишком слаба, чтобы изменить его судьбу, которую всегда будут пересекать вереницы женщин; да, она это знает, но, смиряясь с этим, плачет и не может спать...

Доктор Гавел прочел этот перечень всхлипов, и перед ним всплыли три потерянных года, когда он в упорном стремлении убедить свою жену изображал себя обращенным греховодником и любящим супругом; он почувствовал безмерную усталость и безнадежность. В гневе скомкав письмо, он бросил его в корзину.

2

Удивительно, но на следующий день ему стало немного лучше; желчный пузырь уже не беспокоил, и он обнаружил в себе пусть незначительный, но вполне уловимый интерес к некоторым женщинам, кружившим утром по колоннаде. Это маленькое открытие, правда, было омрачено куда более печальным: женщины проходили мимо, не обращая на него ни малейшего внимания; вместе с бледными глотателями лечебных вод он сливался для них в безликую хворую толпу.

— Видишь, тебе уже лучше, — сказала доктор Франтишка, осмотрев его в то же утро. — Только строго соблюдай диету. Пациентки, с которыми ты встречаешься на колоннаде, по счастью, достаточно старые и больные, чтобы волновать тебя, а это для тебя сейчас самое лучшее, так как ты нуждаешься в покое.

Гавел, заправляя рубашку в брюки, стоял перед маленьким зеркалом, висевшим в углу над умывальни-

ком, и с неудовольствием разглядывал свою физиономию. Затем весьма печально обронил: — Ты не права. Я безошибочно заметил, что среди подавляющего большинства старушенций вдоль колоннады прогуливаются и несколько вполне привлекательных женщин. Однако они и глазом не повели в мою сторону.

— Хотя я и верю всему, что ты говоришь, но в это поверить не могу, — улыбаясь сказала Франтишка, и доктор Гавел, оторвав глаза от своего печального отражения в зеркале, перехватил ее решительный, преданный взгляд; он почувствовал к ней огромную благодарность, хотя и знал, что в ней заговорила всего лишь вера в традицию, вера в ту многолетнюю роль, в какой она привыкла (слегка протестуя, но искренно любя) его видеть.

Раздался стук в дверь. Франтишка приоткрыла ее, и в нее просунулась голова кланяющегося молодого человека. «Ах, это вы! А я и забыла совсем!» Пригласив его пройти в ординаторскую, она объяснила Гавелу: «Вот уже два дня, как тебя разыскивает редактор курортного журнала».

Молодой человек, многоречиво извинившись, что беспокоил доктора Гавела в столь деликатной обстановке, попытался затем (к сожалению, с несколько неприятной судорожностью) перейти на шуточный тон: пан доктор, дескать, не должен сердиться на пани Франтишку, что она выдала его, ибо он, редактор, все равно настиг бы его, пусть хоть в ванне с углекислой водой; и на него пан доктор тоже не должен сердиться за наглость, потому как это свойство относится к издержкам журналистской профессии, дающей ему средства к существованию. Потом он заговорил об иллюстрированном ежемесячнике, издаваемом на здешнем курорте, и пояснил, что в каждом номере печатается интервью с той или иной знаменитостью, находящейся в данный момент здесь на излечении; в качестве примера он назвал несколь-

ко имен, из которых одно принадлежало члену правительства, другое — певице, а третье — хоккеисту.

— Вот видишь, — сказала Франтишка, — красивые женщины на колоннаде не проявили к тебе интереса, зато ты привлекаешь внимание журналистов.

— Это ужасающее падение, — сказал Гавел, но на худой конец удовольствовался и этим вниманием; улыбнувшись редактору, он отверг его предложение, проявив при этом трогательно откровенное лицемерие: — Я, пан редактор, не член правительства, не хоккеист и уж тем более не певица. Вовсе не умаляя значения своих научных изысканий, я все же полагаю, что они представляют интерес скорее для специалистов, чем для широкой публики.

— Но я и не собираюсь брать у вас интервью, мне это и в голову не пришло, — с живой чистосердечностью ответил молодой человек. — Я хотел бы взять его у вашей жены. Наслышан, что она приедет на воды навестить вас.

— Вы информированы лучше меня, — сказал Гавел весьма холодно; он снова подошел к зеркалу и уставился на свое лицо, которое ему не нравилось. Затем в полном молчании стал застегивать верхнюю пуговицу на рубашке, а молодой человек, засмутившись, сразу растерял всю свою разрекламированную журналистскую наглость; он извинился перед пани Франтишкой, извинился перед Гавелом и с облегчением ретировался.

3

Молодой человек был скорее сумасброд, нежели глупец. Не придавая курортному журналу никакого значения, он, будучи его единственным редактором, тем не менее делал все, чтобы каждый месяц заполнять двадцать четыре страницы необходимыми фото-

графиями и словами. Летом это еще кое-как удавалось, курорт кишел знаменитостями, на открытых эстрадах одни оркестры сменялись другими и не было никакой нужды в мелких сенсациях. А вот в ненастные месяцы колоннады заполнялись сельчаками и скукой, и он, разумеется, лез из кожи вон, чтобы не упустить ни одной возможности. Прослышав, что на курорте лечится супруг знаменитой актрисы, именно той, что играет в новом детективном фильме, успешно развлекавшем в последние недели скучающих курортников, он тотчас сделал стойку и пустился на поиски.

Но сейчас ему было стыдно.

Надо сказать, что он всегда был неуверен в себе и потому находился в рабской зависимости от тех, с кем встречался и в чьих взглядах и мнениях робко искал ответа на вопрос: каков он и чего стоит. Сейчас он понял, что был признан жалким, глупым, назойливым, и переживал это тем мучительнее, что человек, которому он таким показался, сразу же произвел на него приятное впечатление. И потому, подстегнутый тревогой, он еще в тот же день позвонил пани Франтишке, чтобы выяснить, что собой представляет супруг актрисы, и узнал от нее, что он не только знаменитость в медицинском мире, но и человек весьма выдающийся; неужто и вправду пан редактор никогда не слышал о нем?

Когда пан редактор сознался, что не слышал, докторша с добродушной снисходительностью заметила: — Ну ясно, вы еще дитя. В профессии, в которой доктор Гавел особенно преуспел, вы, к счастью, пока не разбираетесь.

Убедившись в ходе дальнейших расспросов, что под этой профессией подразумевались эротические познания Гавела, в которых, дескать, доктор не имел себе равных, редактор сконфузился, поняв, что в данном случае его сочли полным профаном; впрочем, он и сам подтвердил это тем, что о Гавеле никогда

не слышал. А поскольку он жаждал стать однажды не меньшим знатоком, чем доктор Гавел, его мучило сознание, что он именно перед ним, своим мэтром, выставил себя малоприятным глупцом. Он вспомнил свою болтливость, свое идиотское остроумие, свою бестактность и покорно согласился со справедливым наказанием, коему мэтр подверг его своим уничтожающим молчанием и отсутствующим, уставленным в зеркало взглядом.

Курортный город, в котором происходила эта история, небольшой, и люди, приятно им это или нет, встречаются здесь по несколько раз на день. И потому для молодого редактора не составило особого труда в скором времени увидеться с человеком, о котором он не переставал думать. День клонился к вечеру, и под сводами колоннады неторопливо кружилась толпа печеночных больных. Доктор Гавел тянул смрадную воду из фарфоровой кружки и слегка ухмылялся. Подойдя к нему, молодой редактор стал смущенно извиняться. Он, дескать, вообще не думал, что супруг известной актрисы Гавловой именно он, доктор Гавел, а не какой-нибудь другой Гавел; Гавелов в Чехии — пруд пруди, и в голове у редактора, как на зло, супруг актрисы не вязался с образом некоего знаменитого доктора, о котором он, редактор, разумеется, давно слышал, причем не только как о выдающемся медике, но — пожалуй, он может позволить себе сказать — и в связи со множеством самых разных толков и забавных историй.

Стоит ли отрицать, что доктора Гавела в его дурном настроении порадовали слова молодого человека, особенно его упоминание о слухах, которые, как было хорошо известно Гавелу, столь же подвержены законам старения и угасания, как и сам человек.

— О, к чему эти извинения! — сказал Гавел молодому человеку, а заметив его смущение, мягко взял его под руку и принудил пройти с ним вдоль колонна-

ды. — Не стоит и говорить об этом, — успокаивал он редактора, но сам при этом с наслаждением вслушивался в его извинения и то и дело повторял: «Так вы обо мне слышали?» — и всякий раз смачно смеялся.

— Конечно, — поддакивал редактор. — Но я представлял вас совсем не таким.

— А каким вы меня представляли? — спросил доктор Гавел с непритворным интересом, а когда редактор, не зная, что и сказать, что-то промямлил в ответ, печально изрек: — А я знаю. В отличие от нас существуют герои приключений, легенд или анекдотов, изготовленные из материи, не подверженной порче старостью. Нет, тем самым я не хочу сказать, что легенды и анекдоты бессмертны; бесспорно, и они стареют, а вместе с ними и их герои, однако стареют так, что их образ не меняется и не искажается, он разве что медленно блекнет, становится все прозрачнее и прозрачнее, пока наконец не сольется с бесплотностью пространства. Так однажды растают Коэн из того анекдота, и Гавел Собиратель, и даже Моисей и Афина Паллада или Франциск Ассизский; однако заметьте, Франциск будет медленно блекнуть вместе с птицами, садящимися ему на плечи, вместе с олененком, трущимся о его ноги, вместе с оливковой рощей, дарующей ему тень, да, весь его мир вместе с ним будет становиться прозрачным, превращаясь в благостную лазурь, тогда как мы, дорогой друг, угасаем на фоне насмешливо цветистого ландшафта, в виду насмешливо торжествующей молодости.

Тирана Гавела и вовсе смутила редактора, но в то же время и вдохновила; они вместе еще долго прохаживались в сгущающихся сумерках. При расставании Гавел, заявив, что уже сыт по горло диетой и не прочь был бы завтра поужинать по-человечески, спросил редактора, не откажется ли он составить ему компанию.

Разумеется, молодой человек не отказался.

— Ни слова об этом пани Франтишке, моему лекарю, — сказал Гавел, усевшись за стол напротив редактора и взяв меню, — но у меня свое понимание диеты: категорически избегаю блюд, не вызывающих у меня аппетита.

Затем он спросил у молодого человека, какой он предпочитает аперитив. Редактору, не привыкшему пить перед едой аперитив, ничего не пришло в голову, кроме водки.

Доктор Гавел выразил по этому поводу неудовольствие: — Водка пахнет русской душой.

— Возможно, — сказал редактор и с этой минуты сидел как потерянный. Точь-в-точь абитуриент перед экзаменационной комиссией. Он не старался говорить что думает или делать что хочет, а старался угодить экзаменаторам; старался отгадать их мысли, их причуды, их пристрастия; пыжился быть их достойным. Ни за что на свете он не признался бы, что его ужины по большей части примитивны и скудны и что он вовсе не думает о том, какое вино полагается к тому или иному мясу. И доктор Гавел, без конца советуясь с ним о выборе закуски, основного блюда, вина и сыра, непроизвольно терзал его.

Когда редактор понял, что по гурманству комиссия снизила ему отметку на несколько баллов, он решил этот провал восполнить повышенным усердием: в перерыве между закуской и основным блюдом он демонстративно стал оглядывать присутствующих в ресторане женщин; несколькими замечаниями он попытался подчеркнуть свою заинтересованность и знание предмета. Когда же он сказал о рыжеватой даме, сидевшей через два столика, что она, вне сомнения, была бы отличной любовницей, Гавел без задней мысли спросил его, почему он так думает. Редактор ответил уклончиво, а когда Гавел поинте-

ресовался его опытом с рыжекудрыми, он и вовсе увяз в неправдоподобных выдумках и вскоре умолк.

Зато доктору Гавелу под восхищенным взглядом редактора было приятно и легко. К мясу он заказал бутылку красного вина, и молодой человек, побуждаемый вином, предпринял еще одну попытку удостовериться расположения мэтра. Он завел речь о своей девушке, с которой недавно познакомился и вот уже несколько недель добивается ее не без явной надежды на успех. Его исповедь была не слишком содержательной, и неестественная улыбка, застывшая на его лице и призванная своей деланной двусмысленностью досказать недосказанное, способна была выразить лишь подавленную неуверенность. Гавел прекрасно видел потуги редактора и, движимый сочувствием, стал расспрашивать о всяких физических достоинствах упомянутой девушки, дабы дать ему возможность как можно дольше усладиться милой его сердцу темой и почувствовать себя раскованнее. Но и на сей раз молодой человек крайне огорчил его: он отвечал на удивление невнятно; как выяснилось, редактор не сумел с достаточной точностью описать ни формы девичьего тела, ни его отдельные детали, а уж душу девушки — тем более. И тогда доктор Гавел заговорил сам и, опьяненный благостью ужина и вином, обрушил на редактора остроумный монолог, полный собственных воспоминаний, историй и идей.

Редактор потягивал вино, слушал и при этом испытывал двоякое чувство: с одной стороны, он был несчастен: ощущая свою ничтожность и глупость, он казался себе сомнительным учеником перед лицом несомненного мэтра и стеснялся открыть рот; с другой стороны, он был счастлив: ему льстило, что мэтр сидит напротив, по-свойски с ним болтает и поверяет ему самые разные деликатные и бесценные суждения.

Когда речь Гавела слишком затянулась, молодой человек и сам возмечтал открыть рот, подкинуть

поленце, вставить словечко, проявить способность к партнерству; заговорив снова о своей девушке, он дружески попросил Гавела взглянуть на нее и оценить в масштабах своего опыта; иначе говоря, *принять* (да, он из прихоти использовал это слово) ее у него.

Как это пришло ему в голову? Что это, безотчетная мысль, порожденная вином и горячим желанием что-либо сказать?

Но какой бы спонтанной ни была эта мысль, редактор использовал ее по меньшей мере с тройной целью:

благодаря этой потаенной совместной оценке (своего рода «приемке») между ним и мэтром установится доверительная связь, утвердится товарищество, партнерство, о котором редактор мечтал;

если мэтр выскажется положительно (а молодой человек в это верил, ибо сам был несказанно очарован упомянутой девушкой), его оценка будет решающей для молодого человека, для его выбора и вкуса, так как в глазах мэтра он сразу будет переведен из разряда учеников в разряд подмастерьев и тем самым в собственных глазах будет значить больше, чем прежде;

и последнее: девушка тоже будет значить для него больше, чем значила до сих пор, а наслаждение, которое он испытывает в ее присутствии, превратится из фиктивного в реальное (ведь молодой человек временами осознавал, что мир, в котором он существует, пока для него лабиринт ценностей, которые он может лишь смутно ощущать и которые из ценностей кажущихся могут стать реальными только тогда, когда будут *проверены*).

5

Проснувшись на следующий день, доктор Гавел почувствовал после вчерашнего ужина легкую тяжесть в желчном пузыре; взглянув на часы, обнаружил, что через тридцать минут должен быть на процедуре и,

значит, надо торопиться, а это он особенно не любил; причесываясь, увидел в зеркале физиономию, которая ему не нравилась. День начинался скверно.

Так и не успев позавтракать (это он также считал дурным знаком, поскольку неуклонно придерживался строгого режима), он поспешил к водолечебнице. Пройдя длинным коридором со множеством дверей, постучал в одну из них; выглянула красивая блондинка в белом халате и, попрекнув его за опоздание, пригласила войти. Доктор Гавел не успел и раздеться в кабинке за шторой, как услышал: «Поскорее!» Голос массажистки, звучавший все раздраженнее, оскорблял Гавела и призывал к возмездию (увы, доктор Гавел в течение многих лет знал лишь единственный способ возмездия в отношении женщин!). Раздевшись догола, он втянул живот, выпятил грудь и хотел было в таком виде выйти из кабины; но тотчас, проникшись отвращением к своим недостойным потугам, на чужом примере казавшимся ему смешными, снова расслабил мышцы и с небрежностью, которую считал единственно достойной себя, подошел к большой ванне и погрузился в теплую воду.

Массажистка, выказав полное равнодушие к его животу и груди, открыла несколько краников на большом распределительном щите и, схватив правую ногу распростертого на дне ванны Гавела, под водой приставила к ступне шланг, из которого била мощная струя. Доктор Гавел, чувствительный к щекотке, то и дело дергал ногой, так что массажистке снова пришлось сделать ему замечание.

Конечно, ничего не стоило иной остротой, анекдотом или шутливым вопросом вывести блондинку из ее холодной неучливости, но для этого Гавел был слишком раздражен и оскорблен. Он рассудил, что блондинка заслуживает наказания и не стоит того, чтобы он облегчал ее участь. Когда она шлангом проезжала по его паху, он, защищая ладонями свое мужское до-

стоинство от резкой струи, спросил ее, что она делает сегодня вечером. Даже не взглянув на него, массажистка поинтересовалась, зачем ему это знать. Он сказал, что проживает один в уютном номере и был бы не прочь сегодня вечером видеть ее у себя. «Вы, должно быть, с кем-то меня спутали», — сказала блондинка и предложила ему перевернуться на живот.

И доктор Гавел лег плашмя на дно ванны, задрал вверх подбородок, чтобы можно было дышать. Он чувствовал, как сильная струя массирует ему икры, и наслаждался точно избранным тоном, каким он обратился к массажистке. А все дело в том, что доктор Гавел издавна наказывал упрямых, наглых или избалованных женщин тем, что укладывал их в свою постель холодно, без следа нежности, почти молча и столь же холодно из нее выпроваживал. Однако чуть позже до него дошло: хотя он и обратился к массажистке с надлежащим холодком и без следа нежности, в свою постель он все-таки не уложил ее и, пожалуй, не уложит. Он понял, что был отвергнут, и воспринял это как новое оскорбление. Обрадовался, когда уже наконец стал выпираться в кабинке полотенцем.

Покинув водолечебницу, он поспешил к афишам кинотеатра «Час», где были выставлены три фотографии; на одной из них его жена в отчаянии склонялась над трупом. Доктор Гавел смотрел на это нежное лицо, искаженное ужасом, и ощущал безмерную любовь и безмерную печаль. Он долго не мог оторваться от афиши. Потом решил зайти к Франтишке.

6

— Соедини меня, пожалуйста, с междугородной, мне надо поговорить с женой, — сказал он ей, когда она выпроводила пациента и пригласила его в приемную.

— Что-нибудь случилось?

— Да, — сказал Гавел. — Я грущу!

Франтишка с недоверием взглянула на него, набрала межгород и назвала номер, который подсказал ей Гавел. Повесив трубку, спросила: — Ты, значит, грустишь?

— А почему бы мне не грустить? — взорвался Гавел. — Ты точь-в-точь как моя жена. Вы обе видите во мне того, кем я уже давно не являюсь. Я послушный, я одинокий, я печальный. Меня одолели годы. И скажу тебе: в этом мало приятного.

— Надо было завести детей, — сказала докторша. — Тогда бы ты не думал столько о себе. Меня не меньше твоего одолевают годы, но я не думаю об этом. Видя, как мой сын превращается в юношу, представляю себе его уже взрослым и не сожалею о быстротечности времени. Подумай только, что он вчера отмочил: зачем на свете врачи, если люди все равно умирают? Ну каково, а? Что бы ты ему на это ответил?

Доктору Гавелу, к счастью, отвечать не пришлось: зазвонил телефон. Гавел поднял трубку и, услышав голос жены, тотчас заговорил о том, что ему грустно, что здесь не с кем общаться, не на кого смотреть, что одному ему здесь не выдержать.

В трубке звучал тонкий голос, поначалу недоверчивый, изумленный, запинаящийся, и лишь под напором мужниных слов он немного оттаял.

— Прошу тебя, приезжай, приезжай как можно скорее! — говорил в трубку Гавел и слушал ответные слова жены о том, что она была бы рада приехать, да у нее почти каждый день спектакли.

— Почти каждый день это не каждый день, — сказал Гавел и услышал, что завтра она свободна, но есть ли смысл приезжать на один день?

— Как ты смеешь так говорить? Разве ты не знаешь, какое богатство даже один-единственный день в этой короткой жизни?

— А ты правда на меня не сердисься? — спросил тонкий голос в трубке.

— С какой стати мне на тебя сердиться? — возмутился Гавел.

— Из-за письма. У тебя боли, а я донимаю тебя таким дурацким резнивым посланием.

Доктор Гавел осыпал трубку нежностью, и его жена сообщила (голосом вконец растроганным), что завтра приедет.

— Что ни говори, а я завидую тебе, — сказала Франтишка, когда Гавел повесил трубку. — У тебя есть все. Девицам числа нет, и к тому же счастливая семейная жизнь.

Гавел смотрел на свою приятельницу, говорившую о зависти, но по своей доброте, вероятно, вообще не умеющую завидовать, и испытывал к ней жалость, ибо знал, что радость, которую приносят дети, не может заменить другие радости, не говоря уж о том, что радость, обремененная обязанностью заменять другие радости, вскоре становится чересчур утомительной.

Гавел отправился на обед, после обеда спал, а проснувшись, вспомнил, что молодой редактор ждет его в кафе, дабы представить ему свою девушку. Он оделся и вышел. Спускаясь по лестнице санатория, увидел в вестибюле у гардероба высокую женщину, похожую на красивую скаковую лошадь. Ах, как это некстати! Именно такие женщины Гавелу всегда чертовски нравились. Гардеробщица подала высокой женщине пальто, и доктор Гавел подскочил, чтобы помочь ей одеться. Женщина, похожая на скаковую лошадь, небрежно поблагодарила его, и Гавел сказал: «Могу я для вас еще что-нибудь сделать?» Он улыбался ей, но она без улыбки ответила «нет», и поспешно вышла на улицу.

Доктор Гавел воспринял это как пощечину и с обновленным чувством одиночества отправился в кафе.

Редактор уже немалое время сидел в боксе рядом со своей девушкой (он выбрал место, откуда видна была входная дверь) и был начисто не способен сосредоточиться на разговоре, который в иное время весело и неумолчно журчал между ними. Предстоящий приход Гавела заставлял его волноваться. Сегодня впервые он попытался взглянуть на девушку более трезвым взглядом и, пока она что-то говорила (по счастью, она действительно без усталости что-то говорила), обнаружил в ее красоте ряд мелких дефектов; это обеспокоило его, хотя он тотчас стал убеждать себя, что эти мелкие дефекты делают ее красоту даже более интересной, а все ее существо — трогательно близким.

Одним словом, молодой человек любил девушку.

Но если он любил ее, то почему пошел на такое унижительное для нее предприятие: вздумал оценивать ее глазами распутного доктора Гавела? Но даже если простить ему этот грех, допустив, что для него это была лишь мальчишеская игра, то почему тогда этой игрой он был так взволнован и обеспокоен?

Это была не игра. Молодой человек и вправду не знал, какова его девушка, ибо не в силах был определить меру ее красоты и притягательности.

Но неужто он был так наивен и до того неопытен, что не мог отличить красивую женщину от некрасивой?

Отнюдь нет, молодой человек вовсе не был таким неопытным, он знал уже нескольких женщин, находясь с ними в определенных отношениях, однако при этом он куда больше сосредоточивался на себе, чем на них. Обратите внимание хотя бы на такие примечательные детали: молодой человек точно помнит, когда и как он был одет, встречаясь с той или иной женщиной, знает, что тогда-то и тогда-то на нем были чересчур широкие брюки и он с отчаянием осознавал их неприличность, знает, что однажды, на-

пример, был в белом свитере, походя в нем на элегантного спортсмена, но совершенно не помнит, как в ту или иную встречу были одеты его подруги.

Да, примечательно: в период своих коротких романов он долго и подробно изучал в зеркале самого себя, тогда как свой антипод — женщину — воспринимал глобально, целостно; для него было гораздо важнее, каким партнерша видит его, чем то, какой партнерша представляется ему. Из этого вовсе не следует, что для него не имело значения, красива или некрасива девушка, с которой он встречается. Конечно, имело. Ибо не только глаза партнерши видели его, но и их вместе видели и оценивали глаза окружающих, и ему было страшно важно, чтобы другим его девушка нравилась, так как ею — он знал — оценен его выбор, его вкус, его уровень, а стало быть, он сам. Но именно потому, что для него важно было мнение других, он не слишком полагался на собственное и до сей поры вполне довольствовался тем, что прислушивался к голосу общественного мнения и солидаризировался с ним.

Но много ли значил голос общественного мнения в сравнении с голосом мэтра и знатока! Редактор нетерпеливо устремлял взгляд в сторону входа, а увидев наконец фигуру Гавела, появившуюся за стеклянной дверью, сделал изумленный вид и сказал девушке, что сюда по чистой случайности направляется одна известная особа, у которой он в ближайшее время собирается взять интервью для своего журнала. Поднявшись, он пошел Гавелу навстречу, а потом подвел его к столу. Девушка, на минуту-другую потревоженная знакомством, вскоре снова обрела дар неустанной говорливости и продолжала щебетать.

Доктор Гавел, десятью минутами раньше отвергнутый женщиной, похожей на скаковую лошадь, долго смотрел на щебечущую девочку и все глубже погружался в свое дурное настроение. Девушка, пусть и не красавица, была вполне миловидной, и не оста-

валось сомнения, что доктор Гавел (ходила молва, что он подобен смерти и берет все) не преминул бы при случае взять и ее, и даже с большим удовольствием. На ней было несколько отметин, содержащих в себе особую эстетическую двусмысленность: у переносицы золотилась россыпь веснушек, что могло восприниматься и как недостаток белизны кожи, и как, напротив, ее природное украшение; она была чересчур хрупкой, что могло быть принято за неразвитость идеальных женских пропорций или же, напротив, за дразнящую нежность ребенка, все еще живущего в женщине; она была безмерно словоохотлива, что могло быть принято за докучливую болтливость или же, напротив, за выгодное свойство, позволяющее партнеру незаметно и неуловимо под сводом ее слов отдаваться собственным мыслям.

Редактор тайно и с тревогой наблюдал за выражением лица доктора и, заметив, что оно опасно (а для его надежд неблагоприятно) задумчиво, позвал официанта и заказал три коньяка. Девушка объявила, что пить не станет, и заставила долго убеждать себя, что пить ей можно и должно, а доктор Гавел тем временем мрачно осознавал, что это эстетически двусмысленное существо, раскрывающее в половодье слов всю свою незамысловатую душу, с наибольшей вероятностью оказалось бы, посягни он на нее, его третьим сегодняшним поражением, поскольку он, доктор Гавел, некогда могучий, как смерть, нынче утратил свое бывшее всеислие.

Официант принес коньяк, все трое подняли рюмки, чтобы чокнуться, и доктор Гавел посмотрел в голубые девичьи глаза как в глаза враждебные, глаза того, кто никогда не будет принадлежать ему. А восприняв эти глаза как абсолютно враждебные, отплатил им своей враждебностью, увидев вдруг перед собой существо эстетически вполне однозначное: болезненную девочку с лицом, забрызганным грязью веснушек, и невыносимо говорливу.

Это ее превращение порадовало Гавела, как порадовали и глаза молодого человека, прикованные к нему с тревожным вопрошанием, однако эта радость была слишком ничтожна по сравнению с той бездной досады, что разверзлась в нем. Гавелу подумалось, что вовсе незачем продолжать встречу, не приносящую ему удовольствия; поэтому, поспешно взяв слово, он отпустил две-три очаровательные остроты, выразил радость по поводу того, что имел честь провести с ними несколько приятных минут, и, сообщив, что больше не располагает временем, распрощался.

Когда Гавел был уже у стеклянных дверей, молодой человек, стукнув себя по лбу, бросил девушке, что-де забыл договориться с доктором Гавелом насчет интервью для журнала; вскочил из-за стола и бросился за ним вдогонку. «Так что вы о ней скажете?» — спросил он Гавела уже на улице.

Гавел долго смотрел в глаза молодому человеку, чье преданное нетерпение согревало его.

Зато редактора молчание Гавела обдавало холодом, и он уже заранее пошел на попятный: — Я знаю, она не красавица...

— Да, красавицей ее не назовешь.

Редактор опустил голову: — Немного разговорчива. Но в общем мила!

— Да, девочка в самом деле мила, — сказал Гавел, — но милыми могут быть и собака, и канарейка, и утка, переваливающаяся по двору. В жизни, друг мой, речь идет не о том, чтобы обладать наибольшим числом женщин, такой успех слишком поверхностный. Речь идет прежде всего о том, чтобы воспитывать в себе собственную взыскательность, поскольку в ней отражается мера вашей личной значимости. Запомните, друг, настоящий рыбак мелкие рыбешки бросает обратно в воду.

Молодой человек пустился в извинения, утверждая, что у него самого были большие сомнения в

отношении девушки, поэтому, собственно, он и просил Гавела поделиться с ним своим мнением.

— Чепуха, — сказал Гавел, — не стоит из-за этого волноваться.

Молодой человек, однако, продолжал расссыпаться в извинениях и отговорках, ссылаясь на то, что на курорте по осени красивых женщин наперечет и что надо быть признательным и за то, что попадаетея под руку.

— Тут я не могу с вами согласиться, — одернул редактора Гавел. — Я здесь заметил нескольких чрезвычайно привлекательных женщин. Но кое-чем поделюсь с вами. Существует некая внешняя привлекательность женщин, которую провинциальный вкус ошибочно принимает за красоту. И существует подлинная эротическая красота женщин. Конечно, не так-то просто распознать ее с первого взгляда. Это искусство. — Он пожал молодому человеку руку и пошел прочь.

8

Редактор пришел в отчаяние: понял, что он неисправимый глупец, затерянный в необозримой пустыне (да, она казалась ему необозримой и бесконечной) собственной молодости; понял, что пал в глазах доктора Гавела; сейчас с полной ясностью ему открылось, что девушка его неинтересна, ограничена и некрасива. Когда он, вернувшись, снова подсел к ней в бокс, ему показалось, что все посетители кафе, равно как и два сновавших официанта, знают об этом и не без злорадства жалеют его. Он крикнул, что хочет расплатиться, и объяснил девушке свой спешный уход срочным заданием. Девушка погрузнела, и у него сжалось сердце от сострадания к ней: он, хотя и знал, что подобно настоящему рыбаку бросает ее снова в море, в глубине души (тайно и сконфуженно) все же продолжал любить ее.

И даже утренний свет следующего дня не рассеял его мрачного расположения, а увидев идущего навстречу по курортной площади доктора Гавела с элегантной женщиной, и вовсе ощутил в душе зависть, почти схожую с ненавистью: дама была кричаще красива, и настроение у доктора Гавела, весело закивавшему ему, было кричаще радостным. В этом сиянии редактор почувствовал себя еще более жалким.

— Это редактор местного журнала; он познакомился со мной лишь ради того, чтобы проторить дорожку к тебе, — сказал Гавел и представил его красавице.

Когда молодой человек понял, что перед ним женщина, которую он видел на экране, его неуверенность и вовсе возросла; Гавел принудил его немного пройтись с ними, и редактор, не зная, что и сказать от растерянности, стал излагать свой прежний журналистский проект, дополнив его новой идеей: он охотно поместил бы в журнале общее интервью с обоими супругами.

— Дорогой друг, — предостерег его Гавел, — беседы, что мы с вами вели, были приятными и благодаря вам даже занятыми, но почему, скажите на милость, их следует публиковать в журнале, предназначенном для обладателей большого желчного пузыря и язвы двенадцатиперстной кишки?

— Могу себе представить эти ваши беседы! — улыбаясь воскликнула пани Гавлова.

— Мы говорили о женщинах, — уточнил доктор Гавел. — В пане редакторе я нашел для этой темы выдающегося партнера и собеседника, светоносного друга моих ненастных дней.

— Он не навел на вас тоску? — спросила пани Гавлова у молодого человека.

Редактор был счастлив, что доктор Гавел назвал его своим светоносным другом, и к его зависти вновь стала примешиваться благодарная преданность; молодой человек заявил, что скорее он навел тоску на доктора Гавела; он ведь отлично осознает свою

неопытность и пресность, даже — добавил он — свою ничтожность.

— Ну, мой дорогой, — засмеялась актриса, — представляю, как ты тут хорохорился!

— Вовсе нет, — редактор встал на защиту доктора, — вы же, сударыня, не знаете, что такое это городишко, это захолустье, в котором я живу.

— Здесь ведь так красиво! — возразила актриса.

— Да, для вас, приехавшей сюда ненадолго. Но я здесь живу и буду жить. Постоянно один и тот же круг людей, которых знаю как свои пять пальцев. Постоянно одни и те же люди, которые одинаково думают, и то, о чем они думают, одни глупости и пошлости. Воленс-ноленс я должен ужиться с ними и порой даже перестаю осознавать, что постепенно приспособляюсь к ним. Как ужасно стать одним из них! Как ужасно видеть мир их близорукими глазами!

Редактор говорил со все возрастающим пылом, и актрисе казалось, что в его словах она слышит дунновение вечного протеста молодости; это захватило ее, поразило, и она сказала: — Вы не должны приспособляться! Нет, не должны!

— Не должен, нет, — согласился молодой человек. — Пан доктор вчера открыл мне глаза. Любой ценой я должен вырваться из заколдованного круга этой среды, из заколдованного круга этой убогости, этой серости. Вырваться, — повторял молодой человек, — вырваться!

— Мы толковали о том, — стал пояснять Гавел жене, — что банальность провинциального вкуса создает ложный идеал красоты, что по сути своей он незротичен, даже антизротичен, тогда как подлинное, взрывное эротическое волшебство остается вне поля зрения. Вокруг нас ходят женщины, способные довести мужчину до самых головокружительных чувственных потрясений, но здесь их никто не замечает.

— Вот именно, — согласился редактор.

— Их никто не замечает, — продолжал доктор, — потому как они не соответствуют меркам здешних портных; а вся суть в том, что эротическое волшебство проявляется скорее в деформациях, чем в симметрии, скорее в выразительности, чем в соразмерности, скорее в оригинальной, чем в серийной прелести.

— Верно, — согласился редактор.

— Ты же знаешь Франтишку? — спросил Гавел свою жену.

— Знаю, — сказала актриса.

— А знаешь ли ты, сколько моих друзей за одну ночь с ней отдало бы все свое состояние? Голову даю на отсечение, что в этом городе никто ее не замечает. Да хоть вы, пан редактор, вы же знаете пани доктора Франтишку, но скажите, заметили ли вы когда-нибудь, какая это потрясающая женщина?

— Нет, право слово, нет! — сказал редактор. — Мне и в голову никогда не приходило посмотреть на нее как на женщину!

— Разумеется, — сказал Гавел. — Она казалась вам недостаточно худой. У нее вам не хватало веснушек и говорливости.

— Да, — сказал молодой человек понуро, — вчера вы поняли, какой я болван.

— А вы когда-нибудь обращали внимание на ее походку? Замечали ли вы, как красноречивы ее ноги в движении? Пан редактор, если бы вы слышали, о чем эти ноги рассказывают, вы покрылись бы краской, хотя я-то знаю, какой вы неисправимый греховодник!

9

— Дуришь голову невинным людям, — сказала актриса мужу, когда они простились с редактором.

— Ты же прекрасно знаешь, что это признак моего хорошего настроения. И клянусь тебе:

с той минуты, что я сюда приехал, это со мной впервые.

На сей раз доктор Гавел не лгал; встретив утром подъехавший к станции автобус и увидев жену сперва за оконным стеклом, а потом улыбающуюся на подножке, он преисполнился счастьем; в предыдущие дни все запасы веселости оставались в нем неизрасходованными, и оттого сейчас от радости он едва не сходил с ума. Они вместе бродили по колоннаде, грызли круглые сладкие вафли, заглянули к Франтишке, дабы получить свежий отчет о новых изречениях ее сына, совершили с редактором прогулку, описанную в предыдущей главе, и подшучивали над пациентами, прогуливавшимися по улицам в оздоровительных целях. В этой связи доктор Гавел не мог не заметить, что многие встречные устремляют на актрису пристальные взгляды, а обернувшись, он и вовсе убеждался, что они останавливаются и смотрят им вслед.

— Ты раскрыга, — сказал Гавел. — Людям здесь нечего делать, вот они и ходят самозабвенно в кино.

— Тебе это неприятно? — спросила актриса, считавшая публичность своей профессии определенной провинностью и мечтавшая, как и все настоящие любовники, о любви тихой и тайной.

— Напротив, — рассмеявшись, сказал Гавел. Потом он долго, по-ребячьи, забавлялся тем, что пытался заранее отгадать, кто из встречающих узнает актрису, а кто нет, и держал с ней пари, сколько человек узнает ее на следующей улице. И вправду: оборачивались солидные дяди, селянки, дети, да и те немногие красивые женщины, что в это время еще попадались на курорте.

Гавел, проводивший последние дни в унижительной неприметности, был осчастливлен вниманием встречающих и возмечтал о том, чтобы лучи интереса, возбужденного женой, как можно больше падали и на него; он обнимал актрису за талию, склонялся к ней, шептал ей на ухо самые разные любезности и скабрзности,

а она платила ему тем, что прижималась к нему и возводила на него повеселевшие глаза. И Гавел под множеством взглядов чувствовал, как к нему вновь возвращается утраченная приметность, как его тусклые черты обретают зримость и выразительность, и вновь наполнялся гордой радостью от ощущения своего тела, своей походки, своего пребывания на земле.

Когда вот так, любовно сплетясь, они брели вдоль главной улицы мимо витрин, в окне магазина охотничьих принадлежностей доктор Гавел вдруг увидел светловолосую массажистку, что вчера столь нелюбезно обошлась с ним; она стояла в пустом магазине и болтала с продавщицей. «Поди-ка сюда, — сказал он изумленной супруге, — ты лучшее создание на всем белом свете, я хочу сделать тебе подарок», — и, взяв ее за руку, ввел в магазин.

Болтавшие женщины тотчас умолкли, и массажистка впилась долгим взглядом в актрису, беглый кинула на Гавела, снова перевела глаза на актрису и снова на Гавела; Гавел с удовлетворением отметил это, но, не удостоив ее ни единым взглядом, стал быстро осматривать выставленные товары: рога, ягдташи, дробовики, бинокли, палки, намордники для собак.

— Что вам угодно? — спросила его продавщица.

— Минутку, — сказал Гавел; наконец под стеклом прилавка он увидел свистки черного цвета и указал на один из них. Продавщица подала. Гавел поднес его к губам, дунул, оглядел со всех сторон и снова издал негромкий свист. «Какая прелесть», — оценил он свисток и положил на прилавок перед продавщицей положенные пять крон. Свисток протянул жене.

Актриса узнала в подарке очаровательную ребячливость мужа, озорство, его умение найти смысл в бессмыслице и наградила его восхищенным, обожающим взглядом. Но Гавелу этого было мало. «И это вся твоя благодарность за такой прекрасный подарок?» — шепнул он ей. И актриса поцеловала его.

Обе женщины не сводили с них глаз, пока они не покинули магазин.

А потом они снова бродили по улицам, по парку, грызли вафли, свистели в свисток, сидели на лавочке и заключали пари, кто из прохожих обернется на них. Вечером, входя в ресторан, они едва не столкнулись с женщиной, похожей на скаковую лошадь. Она с изумлением посмотрела на них, долгим взглядом — на актрису, беглым — на Гавела, потом опять на актрису, а когда снова перевела взгляд на Гавела, то непроизвольно поклонилась ему. Гавел тоже поклонился в ответ, а затем, нагнувшись к уху жены, спросил ее, любит ли она его. Актриса влюбленно вскинула на него глаза и погладила его по лицу.

Они сели за стол, заказали скромный ужин (ибо актриса трепетно следила за диетой мужа), пили красное вино (ибо только его мог пить Гавел), и пани Гавлова не на шутку растрогалась. Наклонившись к мужу, она взяла его за руку и сказала, что это один из самых прекрасных дней в ее жизни; призналась ему, как ей было грустно, когда он уезжал на курорт; снова извинилась за свое безрассудно ревнивое письмо и благодарил его, что он позвонил ей и вызвал к себе; сказала, что приехала бы к нему даже ради минутной встречи; говорила и о том, что жизнь с ним протекает для нее в постоянном беспокойстве и неуверенности, словно Гавел непрестанно ускользает от нее; но именно поэтому каждый день для нее — новое переживание, новое чувство влюбленности, новый подарок.

Потом они пошли в одноместный номер Гавела, и радость актрисы вскоре достигла своего апогея.

10

Спустя два дня доктор Гавел снова отправился на так называемый подводный массаж и снова чуть

припозднился, потому как, честно говоря, никогда никуда не приходил вовремя. И снова там была белокурая массажистка, однако на сей раз она уже не смотрела на него волком, а, напротив, улыбалась и назвала его *паном доктором*, из чего Гавел заключил, что она ознакомилась в канцелярии с его курортной картой или же расспросила о нем знакомых. Отметив ее интерес с чувством удовлетворения, доктор Гавел стал раздеваться за ширмой кабинки. Когда же массажистка пригласила его, сообщив, что ванна готова, он, самодовольно выставив пупок, вышел из-за ширмы, прошел к ванне и с наслаждением растянулся в воде.

Массажистка, отвернув краники на распределительном щите, спросила его, здесь ли еще его жена. Гавел сказал «нет», тогда массажистка спросила, будет ли его жена опять играть в каком-нибудь хорошем фильме. Гавел сказал «да», и массажистка подняла его правую ногу. Когда струя воды защекотала его ступню, массажистка улыбнулась и сказала, что у пана доктора, по всему виду, очень чувствительное «тельце». Потом они еще поболтали, и тут Гавел сказал ей, что на курорте дикая скука. Массажистка многозначительно улыбнулась и заметила, что пан доктор наверняка умеет устроить свою жизнь так, чтобы не скучать. Когда же она низко склонилась над Гавелом, проводя струей по его груди, и он похвалил ее бюст, верхнюю половину которого отлично видел со своего лежачего положения, массажистка сказала, что он, конечно, видел бюсты и покрасивее.

Все это с очевидной ясностью подсказало Гавелу, что короткое пребывание его жены на водах совершенно преобразило его в глазах милой мускулистой девушки, что он внезапно обрел силу обаяния и магии и что еще больше: его тело дало ей возможность тайно и интимно сблизиться со знаменитой актрисой, стать ровень с известной женщиной, приковываю-

щей всеобщие взоры; Гавел понял, что ему вдруг стало все дозволено, все наперед молчаливо обещано.

Но как часто случается, человек, испытывая удовольствие, спокойно отвергает предложенную ему возможность, дабы таким путем утвердиться в своем благостном насыщении. Гавел вполне удовольствовался тем, что светловолосая девушка начисто растеряла всю свою грубоватую неприступность, что ее голос стал сладким, а глаза покорными, что она по сути предлагала ему себя — а он-то вовсе и не мечтал о ней.

Перевернувшись на живот и выставив из воды подбородок, он снова позволил резкой струе промассировать себя от пят до шеи. Эта поза казалась ему молитвенной позой покорности и благодарения: он думал о своей жене, о том, как она красива, как они любят друг друга, и о том, что она его счастливая звезда, привораживающая к нему благоволение случайностей и мускулистых дев.

А когда массаж был окончен и он, поднявшись, собрался выйти из ванны, массажистка, окропленная потом, показалась ему такой здоровой и сочно красивой, а глаза ее такими послушно преданными, что он возжелал поклониться в ту сторону, где в даях мерещилась ему жена. Ему привиделось, что массажистка стоит здесь на огромной руке актрисы и что эта рука подает ему это тело как некое сердечное послание, как дар любви. И показалось ему вдруг непростительной грубостью по отношению к собственной жене отвергнуть этот дар, отвергнуть это ее нежное внимание. Улыбнувшись вспотевшей девушке, он сказал ей, что освободил для нее сегодняшний вечер и в семь часов будет ждать ее у Источника. Девушка приняла предложение, и доктор Гавел завернулся в большое полотенце.

Одеваясь и причесываясь, он обнаружил у себя чрезвычайно хорошее состояние духа. Захотелось поболтать, и он заглянул к Франтишке; его визит был

весьма кстати, ибо и она была в отличном расположении. Она болтала с пятого на десятое обо всем на свете, но то и дело возвращалась к теме, затронутой при их последней встрече: говорила о своем возрасте и фразами, туманно сформулированными, намекала на то, что нельзя покоряться годам, что годы не всегда помеха и как прекрасно порой убеждаться, что ты спокойно можешь помериться силами и с более молодыми. «Дети ведь тоже не все, — выдала она вдруг ни с того ни с сего. — Нет, конечно, я люблю своих детей, — уточнила она. — Ты же знаешь, как я люблю их, но на свете есть и другие радости...»

Рассуждения Франтишки ни на йоту не отклонились от туманной отвлеченности и непосвященному могли бы показаться чистой воды болтовней. Однако Гавел не принадлежал к числу непосвященных и сразу прозрел суть, скрывавшуюся за этим вадором. Он заключил, что его собственное счастье — лишь звено в целой цепочке счастья, и поскольку он был человеком добро-сердечным, его отличное настроение улучшилось вдвое.

11

Да, доктор Гавел рассчитал правильно: редактор разыскал пани Франтишку еще в тот самый день, когда его мэтр расхваливал ее прелести. Уже после двух-трех фраз он обнаружил в себе небывалую смелость и сказал ей, что она нравится ему и что он хотел бы с ней сблизиться. В ответ докторша испуганно пролепетала, что она старше его и у нее, мол, дети. Это только придало редактору еще больше уверенности, и он засыпал ее откровениями: стал говорить, что она обладает скрытой красотой, действующей сильнее банальной привлекательности; восторгался ее походкой и сказал, что ее ноги удивительно красноречивы в движении.

А двумя днями позже, в тот самый вечер, когда доктор Гавел самодовольно подходил к Источнику, где уже издали заприметил мускулистую блондинку, редактор в нетерпении метался по своей тесной мансарде; будучи почти уверен в успехе, он тем не менее боялся какой-либо промашки или случайности, которые могли бы стать помехой; он то и дело открывал дверь и выглядывал на лестницу; наконец пани Франтишка появилась.

Тщательность, с которой она была одета и подкрашена, немало отдалила ее от будничного образа женщины в белых брюках и белом халате; возбужденному молодому человеку вдруг показалось, что ее эротические чары, до сих пор лишь предполагаемые, предстали перед ним сейчас чуть ли не бесстыдно обнаженными, и его охватила почтительная робость; чтобы преодолеть ее, он обнял пани Франтишку еще на пороге и стал яростно целовать. Эта внезапность напугала женщину, и она попросила позволить ей сесть. Он выпустил ее из объятий, но, как только она села, расположился у ее ног и стал целовать колени, обтянутые чулками. Положив руку ему на голову, она попыталась мягко его отстранить.

Заметим, что она говорила ему. Сначала она несколько раз повторила: «Вы должны быть хорошим, будьте хорошим, обещайте мне быть хорошим». Когда же молодой человек сказал: «Да, да, я буду хорошим», и при этом продвинулся выше по шершавым чулкам, она и вовсе встrepенулась: «Нет, нет, только не это», а когда он продвинулся еще выше, она вдруг, перейдя на «ты», воскликнула: «Ты дикарь, о, ты дикарь!»

Этим возгласом было решено все. Молодой человек не наталкивался уже ни на какое сопротивление. Он был захвачен; захвачен самим собой, захвачен быстротой своей удачи, захвачен доктором Гавелом, чей гений был неотступно с ним, проникая глубоко в его сознание, захвачен наготой женщины, лежавшей под ним в лю-

бовном слиянии. Он мечтал быть мэтром, мечтал быть виртуозом, мечтал проявить особое сладострастие и неистовство. Чуть приподнявшись над докторшей, он озира́л диким взором ее распростертое тело и бормотал: «Ты восхитительна, ты прекрасна, ты прекрасна!»

Пани Франтишка, прикрывая обеими руками живот, проговорила: — Не смейся надо мной.

— Не говори глупости, я не смеюсь над тобой, ты прекрасна!

— Не смотри на меня, — сказала она, прижав его к себе, чтобы он не видел ее. — У меня двое детей. Ты знаешь об этом?

— Двое детей? — не поняв, переспросил он.

— Это видно по мне, не смотри на меня.

Ее слова несколько притормозили молодого человека в его первоначальном экстазе, и теперь он с трудом воскрешал в себе надлежащее восхищение; для этого он старался ускользающую упоительность реальности усилить словесными излияниями: нашептывал докторше на ухо, как это прекрасно, что она здесь с ним нагая, совершенно нагая.

— Ты славный, ты ужасно славный, — говорила ему докторша.

Молодой человек, продолжая восхищаться ее наготой, спросил, возбуждает ли и ее то, что она здесь с ним голая.

— Ты ребенок, — ответила пани Франтишка, — конечно возбуждает, — но чуть погода добавила, что голой ее видело уже столько врачей, что это ее вовсе не трогает. — Больше врачей, чем любовников, — рассмеялась она и, не прерывая любовного акта, стала рассказывать о своих тяжелых родах. — Но игра стоила свеч. У меня двое чудесных детей. Они настоящее чудо!

С трудом обретенный восторг вновь покинул редактора, у него даже возникло ощущение, что он сидит с пани Франтишкой в кафе и болтает за чашкой чая; это возмутило его; он утроил неистовость своих движе-

ний и попробовал еще раз обратить ее фантазию к более чувственным образам: — Когда я в последний раз пришел к тебе, ты предполагала, что мы будем близки?

— А ты?

— Я *хотел* этого, — сказал редактор, — я ужасно этого *хотел*, — и в слово «хотел» он вложил беспредельную страсть.

— Ты точь-в-точь как мой сын, — рассмеялась она ему в ухо, — ему тоже все хочется. Я всегда его спрашиваю: «А не хотел бы ты часы с фонтаном?»

И так они предавались любви; пани Франтишка говорила без умолку.

Когда потом они сидели рядом на тахте, голые и усталые, докторша гладила редактора по волосам и говорила: — У тебя такой же хохолок на макушке, как и у него.

— У кого?

— У моего сына.

— Ты все время думаешь о сыне, — сказал редактор с робким протестом.

— Ты же понимаешь, — сказала она гордо, — это мамин сын, явно мамин.

Она встала, начала одеваться. И вдруг в этой холостяцкой комнатке у нее возникло ощущение, что она молодая, совсем молодая девушка, и стало ей несказанно хорошо. Уходя, она обняла редактора — в ее глазах стояли слезы благодарности.

12

Прекрасная ночь увенчалась для Гавела прекрасным днем. За завтраком он перемолвился двумя-тремя многозначительными словами с женщиной, похожей на скаковую лошадь, а в десять часов, когда вернулся с процедур, в номере его ждало полное любви послание от жены. Затем он прогуливался по

колоннаде в толпе пациентов; держа у рта фарфоровую кружку, он весь светился от удовольствия. Женщины, еще недавно проходившие мимо, не замечая его, нынче устремляли на него взоры, и он приветствовал их легким кивком. Встретив редактора, весело помахал ему: «Сегодня утром я зашел к нашей докторше и по некоторым приметам, кои не могли ускользнуть от хорошего психолога, я понял, что вы добились успеха!» Молодому человеку более всего на свете хотелось поделиться со своим мэтром, однако сам ход минувшего вечера его несколько обескураживал: он сомневался, был ли этот вечер действительно таким захватывающим, каким ему полагалось быть, и потому не знал, возвеличит его или унижит в глазах Гавела точный и правдивый отчет о нем; он раздумывал, чем следует поделиться с мэтром, а что утаить.

Но, увидев сияющую весельем и бесстыдством физиономию доктора Гавела, редактор не мог не ответить ему в подобном же духе, веселом и бесстыдном, и восторженно стал расхваливать женщину, рекомендованную ему его наставником. Он поведал о том, как подпал под ее обаяние, когда впервые взглянул на нее иными, не обывательскими глазами, поведал о том, как она быстро согласилась прийти к нему, и о том, с какой потрясающей скоростью он овладел ею.

Когда же доктор Гавел стал задавать ему разные вопросы и вопросики, чтобы коснуться всех оттенков обсуждаемой темы, молодой человек, поневоле все больше приближаясь в своих ответах к реальности, в конце концов выложил, что, при всем его огромном удовольствии, он был, однако, несколько озадачен разговорами, которые докторша вела с ним в час любовной близости.

Эта деталь весьма заинтересовала доктора Гавела, и, заставив редактора подробно изложить ему диалог с пани Франтишкой, он то и дело прерывал

рассказ восторженными возгласами: «Отлично! Потрясающе! Ох уж эта вечная мамочка!.. Дружище, я вам завидую!»

В эту минуту перед ними остановилась женщина, похожая на скаковую лошадь. Доктор Гавел поклонился, женщина подала ему руку. «Не сердитесь, — сказала она, — я немного опоздала».

— Ничего страшного, — ответил Гавел, — у меня с моим другом преинтереснейший разговор. Простите меня, но мне надо закончить его.

И, не отпуская руки высокой женщины, он обратился к редактору: — Милый друг, то, что вы мне рассказали, превзошло все мои ожидания. Поймите: само по себе телесное наслаждение, обреченное на безмолвие, катастрофически однообразно, в нем одна женщина уподоблена другой, и все они до единой будут преданы забвению. Мы же, однако, отдаемся любовным радостям прежде всего для того, чтобы они остались в нашей памяти! Чтобы их светящиеся точки сверкающим полукружьем связали нашу молодость со старостью! Чтобы они поддерживали в нашей памяти вечный огонь! И знайте, дружище: единое слово, изреченное в этой обыденнейшей сцене, способно осиять ее так, что она останется незабываемой. Я слышу собирателем женщин, но в действительности я прежде всего собиратель слов. Поверьте мне, вчерашний вечер вы никогда не забудете, и потому почувствуйте себя счастливым!

Он кивнул молодому редактору и, держа за руку высокую женщину, похожую на скаковую лошадь, стал медленно удаляться с ней по аллее курортного променада.

ЭДУАРД И БОГ

1

Историю Эдуарда уместно начать в деревенском домике его старшего брата. Лежа на тахте, тот говорил ему: «Запросто обратиться к этой бабе. Хоть она и свинья, но уверен, что у таких тварей тоже есть совесть. И именно потому, что когда-то она подкинула мне подлянку, теперь она, может, и рада будет, с твоего позволения, искупить на тебе свой старый грех».

Брат Эдуарда не менялся с годами, оставаясь добряком и лежебокой. Таким же образом он, верно, провалялся на тахте в своей студенческой мансарде и много лет назад (Эдуард был еще мальчишкой), когда, продряхнув, прохлопал день смерти Сталина; на следующее утро, ничего не подозревая, он пришел на факультет и увидел свою однокурсницу Чехачкову, застывшую в показном оцепенении посреди вестибюля, точно изваяние скорби; он трижды обошел ее, а потом дико расхохотался. Оскорбленная девушка расценила смех однокурсника как политическую провокацию, и брату Эдуарда пришлось покинуть институт и уехать работать в деревню; там со временем он обзавелся домишком, собакой, женой, двумя детьми и даже дачей.

Именно в этом деревенском домике он, лежа на тахте, и давал Эдуарду наставления: «Мы называли

ее карающим бичом рабочего класса. Но тебя это не касается. Сейчас это стареющая дама, а на юных мальчиков она всегда была падка, так что и тебя не обойдет симпатией».

Эдуард тогда был очень молод. Он кончил педагогический институт (именно тот, где недоучился брат) и подыскивал место. Послушавшись совета брата, он на следующий же день постучал в дверь директорской. Директриса оказалась высокой костлявой дамой с цыганисто тяжелыми черными волосами, черными глазами и черным пушком под носом. Ее уродство приглушило его волнение, в кое все еще повергала его женская красота, и ему удалось поговорить с директрисой свободно, со всяческой любезностью, даже галантно. Явно удовлетворенная его тоном, она несколько раз с очевидной восторженностью произнесла фразу: «Нам в школе нужны молодые люди». И пообещала исполнить его просьбу.

2

Так Эдуард стал учителем в небольшом чешском городе. Это не приносило ему ни радости, ни печали. Он всегда стремился отделить серьезное от несерьезного и свою учительскую стезю относил к категории *несерьезного*. И не потому, что само по себе учительство считал делом несерьезным (напротив, он даже очень цеплялся за этот единственный для него источник дохода), но считал его несерьезным по отношению к собственной сущности. Он не выбирал этой профессии. Ее выбрали обстоятельства: общественный строй, кадровые характеристики, аттестат средней школы, приемные экзамены. Совместные действия всех этих сил забросили его (как кран забрасывает мешок на грузовик) после средней школы на педагогический факультет. Идти туда не хотелось

(факультет был суеверно отмечен провалом брата), но в конце концов он подчинился. Хотя и наперед понимал, что учительство станет лишь еще одной случайностью в его жизни, что оно будет прилеплено к нему, как искусственная, вызывающая смех борода.

Но если *обязанность* являет собой нечто несерьезное (вызывающее смех), то серьезным, напротив, становится *необязательное*: вскоре по роду своей новой деятельности он встретил молодую девушку, показавшуюся ему красивой, и начал за ней ухаживать с серьезностью почти что неподдельной. Звали ее Алицей, и была она, в чем он при первых же встречах убедился, на его беду, исключительно сдержанной и добродетельной.

Прогуливаясь с ней вечерами, он неоднократно пытался обнять ее за спину так, чтобы рукой коснуться ее правой груди, но всякий раз она брала его руку и отбрасывала. Однажды, когда он снова предпринял такую попытку, она (снова) отбросила его руку, остановилась и спросила: — Ты в Бога веруешь?

Своим чутким ухом Эдуард уловил в этом вопросе скрытую категоричность и вмиг забыл о груди.

— Веруешь? — повторила Алица вопрос, и Эдуард не решился ответить. Не станем же попрекать его за то, что он не нашел в себе смелости ответить ей искренно; в школе он чувствовал себя одиноким, а Алица ему слишком нравилась, чтобы ради одного-единственного ответа рисковать ею.

— А ты? — спросил он, чтобы оттянуть время.

— Я — конечно, — сказала Алица и снова потребовала от него ответа.

До сего времени мысль о Боге и в голову ему никогда не приходила. Но он понимал, что признаваться в этом ни к чему, напротив, теперь он мог бы воспользоваться случаем и смастерить из веры в Бога нечто вроде крепкого деревянного коня, и в его утробе — подобно античным героям — незаметно

проскользнуть в девичью душу. Однако Эдуард не решался сказать Алице так просто: *Да, я верую в Бога*; он не был наглецом и стеснялся говорить неправду; грубая прямолинейность лжи ему претила; а уж коли ложь была неизбежной, он и в ней хотел оставаться как можно более правдивым. Поэтому он ответил голосом, полным раздумчивости:

— Даже и не знаю, Алица, что тебе сказать. Конечно, я верую в Бога, но... — Он сделал паузу, и Алица удивленно посмотрела на него. — Но я хочу быть с тобой абсолютно искренним. Я могу быть с тобой откровенным?

— Ты должен быть откровенным, — сказала Алица. — А иначе какой смысл в том, что мы вместе?

— Правда?

— Да, правда, — сказала Алица

— Иногда меня преследуют сомнения, — сказал Эдуард тихим голосом. — Иногда я сомневаюсь в том, существует ли Бог на самом деле.

— Как ты можешь сомневаться в этом! — чуть ли не выкрикнула Алица.

Эдуард молчал, а после минутного раздумья ему в голову пришла известная мысль: — Когда я вижу вокруг себя столько зла, то невольно задаюсь вопросом, возможно ли существование Бога, допускающего все это.

Слова звучали так печально, что Алица взяла его за руку и сказала: — Да, мир и вправду полон зла. Я знаю это даже слишком хорошо. Но именно поэтому ты должен верить в Бога. Не будь Его, все эти страдания были бы напрасны. Все было бы бессмысленным. А я просто не могла бы жить.

— Возможно, ты и права, — сказал Эдуард задумчиво и в воскресенье пошел с нею в костел. Обмакнув пальцы в кропильнице, перекрестился. Началась служба, все пели, и он пел со всеми; мелодия песни была ему знакома, а слов он не знал. Вместо

них он подбирал разные гласные, а звук нащупывал на долю секунды позже других, поскольку и мелодию знал нетвердо. Зато в ту минуту, когда убеждался, что попал в точку, давал своему голосу звучать в полную мощь и впервые в жизни обнаружил у себя красивый бас. Потом все стали усердно молиться, а кое-кто из старых женщин опускался на колени. Не в силах побороть свой порыв, он тоже преклонил колени на каменном полу и стал креститься размашистыми движениями руки, испытывая при этом небывалое чувство, что может делать то, чего никогда в жизни не делал, что не может делать ни в классе, ни на улице, ни к каком другом месте. Он ощущал себя безмерно свободным человеком.

Когда все кончилось, Алица посмотрела на него сияющими глазами: — Теперь ты мог бы сказать, что сомневаешься в Нем?

— Нет, — ответил Эдуард.

И Алица сказала: — Я хотела бы научить тебя любить Его так, как люблю Его я.

Они стояли на паперти, и душа Эдуарда сотрясалась от смеха. В эту минуту как назло мимо проходила директриса и увидела их.

3

Не к добру это было. Ибо стоит напомнить (для тех, от кого, возможно, ускользает исторический фон нашего рассказа), что посещать костелы в ту пору хотеть и не запрещалось, но в определенной мере было небезопасно.

И понять это не так уж и трудно. Люди, осуществившие то, что называлось революцией, пестовали в себе великую гордость, выражаемую словами: *стоять на правильной стороне линии фронта*. Однако по прошествии десяти-двенадцати лет (примерно к

этому времени относится и наша история) линия фронта начинает размываться, а вместе с ней и ее правильная сторона. Неудивительно, что бывшие поборники революции, чувствуя себя обманутыми, торопливо начинают искать фронт *запасной*; теперь уже религия помогает им снова стать во всем своем торжестве (в качестве атеистов против верующих) на правильную сторону и так сохранить привычный и драгоценный пафос своего превосходства.

Но, по правде говоря, и той, противоположной стороне *запасной* фронт пришелся весьма кстати, и, пожалуй, не будет слишком преждевременным сказать, что как раз к таким людям принадлежала и наша Алица. Точно так, как директриса хотела стоять на *правильной* стороне, Алица хотела стоять на стороне *противоположной*. В дни революции был национализирован магазин ее отца, и она ненавидела тех, кто совершил это. Но как она могла выразить свою ненависть? Взять нож и идти мстить за отца? В Чехии нет такого обычая. У Алицы была другая, лучшая возможность проявить свой протест: она начала верить в Бога.

Так Господь Бог споспешествовал обеим сторонам, и Эдуард с Ею же помощью оказался меж двух огней.

Когда в понедельник утром директриса подошла к Эдуарду в учительской, он не на шутку растерялся. И, к сожалению, никак не смог создать той дружеской атмосферы, что сопутствовала их первому разговору, ибо с тех пор (то ли по своему простодушию, то ли по небрежности) в душевные беседы с ней уже не вступал. И потому директриса по праву могла обратиться к нему с нарочито холодной улыбкой:

— Вчера мы встретились, не так ли?

— Да, встретились, — сказал Эдуард.

— Не понимаю, — продолжала директриса, — как может молодой человек ходить в костел. — Эду-

ард растерянно пожал плечами, а директриса, показав головой, повторила: — Да, именно молодой человек.

— Я зашел в храм, чтобы осмотреть его барочный интерьер, — извиняющимся тоном сказал Эдуард.

— Ах вот оно что, — иронично протянула директриса, — я не знала, что у вас такие художественные интересы.

Этот разговор, конечно, был неприятен Эдуарду. Он вспомнил, как его брат когда-то трижды обошел застывшую в скорбной позе однокурсницу и как потом закатывался смехом. Да, семейные истории повторяются, подумал он и оробел. В субботу позвонил Алице и, извинившись, сказал, что простудился и в костел не пойдет.

— Какой ты неженка, — попрекнула его Алица после воскресенья, и Эдуарду показалось, что ее слова прозвучали бездушно. Он стал рассказывать ей (загадочно и расплывчато, стыдясь признаться в своем страхе и в истинных его причинах) об обидах, которые терпит в школе, и о ужасной преследующей его директрисе. Старался вызвать в Алице жалость, но она сказала:

— А моя начальница — классная тетка, — и, посмеиваясь, принялась пересказывать ему всякие толки, ходившие на ее работе. Эдуард, слушая ее веселый голосок, все больше мрачнел.

4

Дамы и господа, это были недели мучений! Эдуард отчаянно мечтал об Алице. Ее тело разжигало его, но именно это тело оказывалось для него совершенно недостижимым. Мучительным был и пейзаж, на фоне которого происходили их встречи: они то бродили по затемненным улицам, то ходили в кино; банальность

и мизерные эротические возможности этих двух вариантов (иных не было) подсказали Эдуарду, что он, пожалуй, добился бы у Алицы более выразительных успехов, встречайся он с ней в другой обстановке. Однажды он с простодушным видом предложил ей провести уик-энд в деревне у его брата, у которого в лесистой долине у реки имеется дача. Эдуард восторженно расписывал девственную красоту тамошней природы, однако Алица (во всем остальном она была наивна и доверчива) сразу раскусила его намерения и резко отвергла предложение. Так повелевал сам (вечно бдительный и настороженный) Алицын Бог.

Этот Бог был сотворен из одной-единственной идеи (иных желаний и мыслей у Него не было): Он запрещал внебрачные любовные связи. Это был, пожалуй, довольно забавный Бог, но стоит ли нам смеяться над Алицей? Из десяти заповедей, переданных Моисеем людям, девять в ее душе не подвергались никакому сомнению, ибо Алица отнюдь не испытывала охоты убивать или не почитать отца своего или желать жену ближнего своего; и лишь одну-единственную заповедь она ощущала не как нечто *самоочевидное*, а как некую реальную задачу, требующую усилий; это была знаменитая седьмая заповедь: *не прелюбодействуй*. И если ей мечталось как-то претворить в жизнь свою веру, доказать и проявить ее, то она должна была устремить все свое внимание именно на эту единственную заповедь, сотворив тем самым из Бога туманного, расплывчатого и абстрактного Бога совершенно определенного, понятного и конкретного: *Бога Непрелюбодейства*.

Но кто может сказать, где начинается прелюбодейство? Каждая женщина определяет эту границу сообразно собственным загадочным критериям. Алица спокойно позволяла Эдуарду целовать ее, а после многократных его попыток погладить ее по груди смирилась и с этим, однако посередине тела, при-

мерно на уровне пупка, проводила точную и совершенно безоговорочную линию, ниже которой простиралась земля, запретная для Моисея, земля священных заповедей и гнева Господня.

Эдуард пустился в чтение Библии и основной теологической литературы; он решил одолеть Алицу ее же собственным оружием.

— Аличка, если мы любим Бога, для нас нет ничего запретного. Если мы о чем-то мечтаем, происходит это с Его дозволения. Христос только и желал того, чтобы все поступали по любви.

— Да, — сказала Алица, — но не той, какая у тебя на уме.

— Любовь только одна, — возразил Эдуард.

— Тебе это было бы выгодно, — сказала Алица, — только Бог установил определенные заповеди, и мы должны следовать им.

— Да, ветхозаветный Бог, — сказал Эдуард, — но никоим образом не Бог христианский.

— Как так? Существует все же один Бог, — не дала сбить себя с толку Алица.

— Верно, — сказал Эдуард, — однако ветхозаветные евреи понимали Его иначе, чем понимаем Его мы. До прихода Христа человек обязан был придерживаться определенной системы заповедей и законов. Каким он был внутри себя, не имело особого значения. Но Христос посчитал все эти запреты и установления чем-то внешним. Самым главным для него было — каков человек внутри себя. Если человек будет поступать согласно велению своей пламенно верующей души, все, что он совершит, будет хорошо и угодно Богу. Потому-то и сказал святой Павел: «Для чистых все чисто».

— Только вот вопрос — ты ли этот чистый, — сказала Алица.

— А святой Августин, — продолжал Эдуард, — сказал: «Люби Бога и поступай по желанию твоему».

Понимаешь, Алица? Люби Бога и поступай по желанию твоему!

— Да вот незадача: твое желание никогда не совпадет с моим, — ответила Алица, и Эдуард понял, что его теологический натиск на сей раз потерпел полный крах; поэтому он сказал:

— Ты меня не любишь.

— Люблю, — с удивительной деловитостью сказала Алица. — И потому не хочу, чтобы мы делали то, что делать не должно.

Как уже было сказано, это были недели мучений. И муки были тем сильнее, что тяга Эдуарда к Алице вовсе не ограничивалась тягой тела к телу; напротив, чем больше его отвергало ее тело, тем печальнее и несчастнее он становился и все больше нуждался в ее сердце; однако и тело ее, и сердце были к тому совсем равнодушны, и одно и другое были одинаково холодны, одинаково заняты только собой и полностью самодостаточны.

А более всего Эдуарда раздражала в Алице невозмутимая уравновешенность всех ее проявлений. И потому, при всем своем здравомыслии, он стал помышлять о каком-нибудь сногшибательном поступке, который мог бы вывести Алицу из ее невозмутимости. Однако было чересчур рискованно провоцировать ее какими-либо богопротивными или циничными крайностями (к чему, естественно, влекло его), и он решил избрать крайности как раз обратного свойства (а значит, гораздо более сложные), которые исходили бы из собственных Алициных взглядов, но утрировали бы их так, что она сама почувствовала бы себя ими сконфуженной. Скажем понятнее: Эдуард начал преувеличивать свою религиозность. Он не пропускал ни одного посещения костела (влечение к Алице было сильнее страха хлопотать неприятности) и вел себя там с вызывающим смирением: по любому случаю опускался на колени,

тогда как Алица рядом молилась и крестилась стоя из страха порвать чулки.

Однажды он и вовсе попрекнул ее религиозной вялостью. Напомнил ей слова Иисуса: «Не всякий говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царство Небесное». Он упрекнул ее в том, что ее вера формальная, внешняя, пустая. Упрекнул в избалованности. Упрекнул, что она слишком довольна собой. Что кроме себя никого не замечает вокруг.

А выговорившись в таком духе (не подготовленная к его нападкам, Алица защищалась слабо), он вдруг увидел перед собой крест, старый, заброшенный металлический крест с заржавелым жестяным Христом, стоявший на углу улицы. Он демонстративно выдернул руку из-под Алицыного локтя, остановился и (в знак своего нового, еще более непримиримого протеста против ее равнодушного сердца) со строптивой нарочитостью перекрестился. Он даже не успел осознать, какое впечатление он произвел на Алицу, потому как в ту же минуту на другой стороне улицы увидел школьную сторожиху. Она смотрела на него. Он понял, что пропал.

5

Предчувствие не обмануло его; двумя днями позже школьная сторожиха остановила его на улице и громко сообщила, что завтра в двенадцать часов его вызывают в директорскую: — Нам надо поговорить с тобой, товарищ.

Эдуард не на шутку встревожился. Вечером он встретился с Алицей, чтобы по обыкновению побродить с ней часа два по улице, но ему уже было не до проявлений религиозной пылкости. Подавленный, он хотел было рассказать Алице о своем приключении, но в конце концов не осмелился, ибо знал, что

ради постылой (однако необходимой) работы готов завтра утром без колебаний предать Господа Бога. А раз предпочел умолчать о злополучном вызове, то, естественно, не сподобился и Алицыного утешения. На следующий день он вошел в директорскую с ощущением полного одиночества.

В помещении его ждали четверо судей: директриса, школьная сторожиха, его коллега-учитель (очкастый коротышка) и неизвестный господин (седовласый), которого все величали товарищем инспектором. Директриса попросила Эдуарда сесть и сказала, что его пригласили на совершенно дружеский и неофициальный разговор, ибо все обеспокоены тем образом жизни, какой он ведет вне школы. При этих словах она посмотрела на инспектора, утвердительно кивнувшего, затем перевела взор на очкастого учителя, который все это время ловил ее взгляд и, как только поймал, сразу разразился речью: мы, говорил он, призваны воспитывать молодежь здоровой, лишенной всяких предрассудков, и несем за нее полную ответственность, ибо служим (мы, учителя) ей примером; и потому, дескать, мы не можем терпеть в наших стенах лицемеров; эту мысль он долго развивал и в конце концов объявил поведение Эдуарда позором для всей школы.

Еще несколькими минутами раньше Эдуард был настроен скрыть своего недавно обретенного Бога и сказать, что посещал костел и прилюдно крестился всего лишь шутки ради. Однако сейчас лицом к лицу с реальной ситуацией он почувствовал, что не может это сделать, не может этим четверым, таким серьезным и заинтересованным людям, сказать, что их заинтересованность вызвана просто недоразумением, глупостью и тем самым невольно высмеять их серьезность; он понимал, что сейчас все ждут от него каких-то уверток, извинений и что они заранее готовы их опровергнуть; он смекнул (вмиг, долго размышлять было некогда), что самое важное для него

сейчас — оставаться верным правде, а точнее, соответствовать тем представлениям, какие у них сложились о нем; и если нужно в определенной мере исправить эти представления, он должен — в определенной же мере — сделать встречный шаг. Поэтому он сказал:

— Товарищи, я могу быть с вами откровенным?

— Конечно, — сказала директриса. — Для этого вы здесь!

— А вы не рассердитесь?

— Говорите, пожалуйста, — сказала директриса.

— Хорошо, тогда я признаюсь вам, — сказал Эдуард. — Я действительно верю в Бога.

Он посмотрел на своих судей, и ему показалось, что все с облегчением вздохнули; лишь школьная сторожиха ополчилась на него: — В нынешнее-то время, товарищ? В нынешнее время?

Эдуард продолжал: — Я знал, что, если скажу правду, вы рассердитесь. Но я не умею лгать. Не вынуждайте меня обманывать вас.

Директриса сказала (мягко): — Никто не нуждается вас лгать. Хорошо, что вы говорите правду. Однако скажите, прошу вас, как вы, молодой человек, можете верить в Бога?

— В наше время, когда мы летаем на Луну! — возмущенно воскликнул учитель.

— Я не виноват, — сказал Эдуард. — Я не хочу верить в Бога. Правда. Не хочу.

— Как это вы не хотите, если верите? — вмешался в разговор (чрезвычайно любезным тоном) седовласый господин.

— Не хочу, а верю, — тихо повторил Эдуард свое признание.

Учитель рассмеялся: — Но в этом есть противоречие!

— Товарищи, я говорю правду, — сказал Эдуард. — Я прекрасно понимаю, что вера в Бога уво-

дит нас от реальности. Чего достиг бы социализм, если бы все верили, что мир в руках Божьих? Тогда никто ничего не делал бы и только уповал на Бога.

— Вот именно, — согласилась директриса.

— Еще никому не удалось доказать, что Бог существует, — изрек очкастый учитель.

Эдуард продолжал: — История человечества отличается от предыстории тем, что люди взяли свою судьбу в свои руки и не нуждаются в Боге.

— Вера в Бога ведет к фатализму, — сказала директриса.

— Вера в Бога — средневековый пережиток, — сказал Эдуард, а потом снова что-то сказала директриса, и что-то сказал учитель, и что-то Эдуард, и что-то инспектор, и все в полном единодушии дополняли друг друга, пока наконец очкастый учитель не взорвался и не оборвал Эдуарда:

— Тогда какого черта ты крестишься на улице, если все это знаешь?

Эдуард поглядел на него бесконечно грустным взглядом и сказал: — Потому что я верю в Бога.

— Но в этом есть противоречие! — радостно повторил учитель.

— Да, — признал Эдуард, — есть такое. Это противоречие между знанием и верой. Знание — одно, а вера — другое. Признаю, что вера в Бога ведет нас к мракобесию. Признаю, что было бы лучше, если бы Бога не было. Но что делать, если здесь, внутри, — он ткнул пальцем в сердце, — я чувствую, что Он есть. Говорю вам, товарищи, как на духу, мне лучше признаться вам в этом, чем чувствовать себя лицемером, я хочу, чтобы вы знали, какой я на самом деле. — Договорив, он опустил голову.

Учитель был так же невелик умом, как и ростом; невдомек ему было, что даже самый крутой революционер считает насилие всего лишь неизбеж-

ным злом, тогда как существо *добро* революции видит в перевоспитании. Обратившийся за одну ночь в убежденного революционера, учитель не пользовался особым расположением директрисы и никак не хотел понять, что Эдуард, являвший собой объект трудный, но поддающийся перевоспитанию, обладает сейчас во сто крат большей ценностью для своих судей, чем он. И, не осознавая этого, грубо обрушился на Эдуарда, заявив, что люди, не способные расстаться со средневековой верой, не более чем отрывок средневековья, а таким не место в современной школе.

Директриса дала ему высказаться, а потом вынесла свой вердикт: — Я не люблю, когда рубят головы. Товарищ был откровенен и рассказал нам все, как оно есть. Мы должны ценить это. — Затем она обратилась к Эдуарду: — Товарищи, конечно, правы, утверждая, что лицемеры не могут воспитывать нашу молодежь. Что вы могли бы сами предложить?

— Я не знаю, товарищи, — удрученно сказал Эдуард.

— Я держусь такого мнения, — сказал инспектор. — Борьба между старым и новым происходит не только между классами, но и в каждом отдельном человеке. Подобная борьба происходит и в душе товарища. Разум подсказывает ему одно, а чувство тянет его назад. В этой борьбе мы должны помочь разуму товарища одержать победу.

Директриса утвердительно закачала головой. Потом сказала: — Я беру его под свою опеку.

6

Итак, самую непосредственную опасность Эдуард предотвратил; его существование как учителя оказалось исключительно в руках директрисы, что пришлось ему вполне кстати: вспомнив слова брата о

том, что директриса всегда была падка на молодых мальчиков, он со всей своей еще не стойкой самоуверенностью (то подавляемой, то утрированной) решил выиграть борьбу как мужчина, добившись расположения своей поведительницы.

В один из ближайших дней он по договоренности с ней зашел в директорскую; стараясь перейти на легкий тон общения, он при любой возможности вставлял в разговор более интимные намеки, тонкую лесть или с деликатной двусмысленностью подчеркивал свое особое положение мужчины, оказавшегося в руках женщины. Однако ему не дозволено было определять тон разговора: директриса говорила с ним приветливо, но весьма сдержанно, интересовалась, что он читает, сама назвала несколько книг и посоветовала их прочесть, иными словами, явно хотела приступить к долговременной работе над его образом мыслей. Их короткая встреча закончилась тем, что она позвала его к себе в гости.

Сдержанность директрисы вновь притушила самоуверенность Эдуарда, и порог ее гарсоньерки он переступил уже покорно, без всякого расчета победить ее своим мужским очарованием. Усадив его в кресло и взяв весьма дружеский тон, она спросила, хочет ли он кофе? Он отказался. А чего-нибудь крепкого? В растерянности он проговорил: «Разве что коньяку», и тотчас испугался, не брякнул ли какой глупости. Но директриса ласково сказала: «Нет, коньяка нет, разве что немного вина», — и принесла полупустую бутылку, содержимого которой едва хватило на то, чтобы наполнить две рюмки.

Попросив Эдуарда не смотреть на нее как на какую-то инквизиторшу, она сказала, что каждый, разумеется, имеет полное право придерживаться в жизни того, что он считает правильным. Другое дело (присовокупила она тотчас), подобают ли те или иные взгляды учителю; поэтому, дескать, они долж-

ны были (пусть и без удовольствия) вызвать Эдуарда и побеседовать с ним, и надо сказать, что все (по крайней мере она и инспектор) остались довольны тем, как Эдуард открыто, ни от чего не отказываясь, говорил с ними. Они с инспектором потом еще долго обсуждали этот вопрос и решили, что через полгода вновь вызовут Эдуарда для беседы, а до той поры она своим влиянием должна помочь ему в его развитии. И она опять подчеркнула, что речь идет лишь о дружеской помощи и что она вовсе никакой не инквизитор и не полицейский. Вспомнив учителя, столь резко обрушившегося на Эдуарда, она сказала: — У него у самого рыльце в пушку, вот он и готов всех сжечь на костре. Школьная сторожиха тоже на всех перекрестках трубит, что вы, мол, дерзили и упрямылись. Только и твердит, что вас надо выгнать из школы. Я, естественно, с ней не согласна, но и удивляться тут особенно нечему. Мне бы тоже не по нраву было, если бы моих детей учил тот, кто прилюдно крестится на улице.

Вот так, в едином потоке фраз директриса нарисовала перед Эдуардом как радужные перспективы своего милосердия, так и страшные последствия своей строгости; затем, дабы подчеркнуть взаправдашнюю дружественность их встречи, свернула разговор на другие темы: заговорила о книгах, подведя Эдуарда к книжной полке, стала восторгаться «Очарованной душой» Роллана и возмутилась, узнав, что он не читал ее. Потом спросила, как ему работает в школе, и после его банального ответа уже долго не закрывала рта: говорила о том, что она признательна судьбе за свою профессию, что работу в школе любит, ибо, воспитывая детей, живет в постоянном контакте с будущим; ведь только будущим и можно оправдать все те страдания, которым («да, приходится это признать») в мире несть числа. «Не будь я убеждена, что живу ради чего-то гораздо

большого, чем моя собственная жизнь, я просто не могла бы жить».

Слова эти внезапно прозвучали очень искренно, но было неясно, хочет ли директриса исповедаться ими или начать запланированную идеологическую полемику о смысле жизни. Эдуард решил принять их как знак доверительности и потому спросил тихим, задушевым голосом:

— А ваша жизнь? Жизнь сама по себе?

— Моя жизнь? — повторила она вслед за ним.

— Да, жизнь сама по себе не удовлетворила бы вас?

На ее лице появилось горестное выражение, и Эдуарду стало почти жаль ее. Она была трогательно безобразна: черные волосы оттеняли продолговатое костистое лицо, черный пух под носом создавал впечатление усов. Он сразу представил всю печаль ее жизни; ее цыганские черты говорили о страстности природы, а ее уродливость — о неосуществимости этой страстности; он представил себе, с какой иступленностью она обратилась в живую статую скорби, оплакивавшую смерть Сталина, с каким азартом заседала на бесчисленных собраниях, как страстно боролась против несчастного Младенца Иисуса, и понимал, что все это лишь печальные запасные руслы ее желаний, которым не дано было течь туда, куда их влекло. Эдуард был молод, и его сочувствие еще не истощилось. Он смотрел на директрису с пониманием. Но она, словно бы устыдясь минутного невольного молчания, заговорила снова, окрасив голос бодрой интонацией:

— Это, Эдуард, совсем не важно. Человек живет на свете не только ради себя. Он всегда живет ради чего-то. — Она еще глубже заглянула ему в глаза. — Речь только о том, ради чего. Ради чего-то настоящего или ради чего-то выдуманного. Бог — это красивый вымысел. Но будущее человечества,

Эдуард, это реальность. Ради него я жила и ради него всем пожертвовала.

И эти фразы она говорила с таким внутренним жаром, что Эдуард продолжал испытывать то внезапное человеческое понимание, какое давеча проснулось в нем; разве не глупо, осенило его, что он лжет тут другому человеку (ближний ближнему), когда задушевный тон их беседы предлагает ему возможность отбросить наконец недостойную (и, впрочем, тоже нелегкую) игру в верующего?

— Я с вами совершенно согласен, — не замедлил он заверить ее. — Я тоже предпочитаю реальность. Не принимайте всерьез мою религиозность.

Однако он сразу же осознал, насколько опасно поддаваться опрометчивым порывам чувства. Директриса изумленно посмотрела на него и, чуть помедлив, сказала: — Не разыгрывайте комедию. Вы мне нравитесь своей искренностью. А сейчас вы притворяетесь тем, кем не являетесь.

Нет, Эдуарду не дано было сбросить с себя вериги верующего, в которые он однажды облачился; примирившись с этим, он попытался быстро исправить дурное впечатление: — Нет, что вы! Я вовсе не собираюсь изворачиваться. Разумеется, я верю в Бога, от этого я никогда не стал бы отпираться. Я лишь хотел сказать, что в той же мере верю и в будущее человечества, в прогресс и во все такое. Если бы я не верил в это, то к чему был бы мой труд учителя, зачем рождались бы дети и во имя чего мы бы вообще жили? Я-то как раз думал, что на то и есть воля Божья, чтобы род людской продвигался вперед и только к лучшему. Я думаю, что можно верить одновременно и в Бога, и в коммунизм, что это вполне совместимые вещи.

— Нет, — улыбнулась директриса с материнской непререкаемостью. — Эти вещи несовместимы.

— Я знаю, — сказал Эдуард. — Не сердитесь на меня.

— А я и не сержусь. Вы по молодости горячо отстаиваете то, во что верите. Никто не поймет вас лучше меня. Ведь и я когда-то была так же молода, как и вы. Я знаю, что такое молодость. И ваша молодость мне по душе. Вы мне симпатичны.

И наконец пробил час. Не раньше и не позже, а именно сейчас, в нужную минуту (какую Эдуард явно не выбирал, скорее она выбрала его и наполнила содержанием). Когда директриса сказала, что он ей симпатичен, он ответил не очень выразительно:

— Вы мне тоже.

— В самом деле?

— В самом деле.

— Ах, оставьте, пожалуйста. Я старая женщина, — возразила директриса.

— Неправда, — вынужден был сказать Эдуард.

— Ну что вы! — сказала директриса.

— Вы совсем не старая, что за глупости! — со всей решительностью вынужден был сказать Эдуард.

— Вы так думаете?

— Вы мне как раз очень нравитесь.

— Не лгите. Вы же не должны лгать.

— Я и не лгу. Вы красивая.

— Красивая? — с притворным недоверием переспросила директриса.

— Да, красивая, — сказал Эдуард, а испугавшись неправдоподобия своего утверждения, попытался тотчас подкрепить его: — Такая черноволосая. Мне это ужасно нравится.

— Вам нравятся брюнетки?

— Ужасно, — сказал Эдуард.

— А почему же вы ни разу не зашли ко мне с тех пор, как вы в школе? Мне сдавалось, что вы избегаете меня.

— Я стеснялся, — сказал Эдуард. — Все стали бы говорить, что я подольщаюсь к вам. Никто не поверил бы, что я хожу к вам лишь потому, что вы мне нравитесь.

— Но теперь вам не придется стесняться. Теперь же *вынесено решение*, что вы иногда должны со мной встречаться.

Глядя на него своими глазами с большими карими радужками (сами по себе, надо сказать, они были красивы), она на прощание слегка погладила его по руке, так что наш сумасброд уходил от нее, охваченный бурным ощущением победы.

7

Эдуард был убежден, что вся эта заваруха разрешилась в его пользу, и в следующее воскресенье пошел с Алицей в костел, преисполненный дерзкой беззаботности; более того, он пошел туда с чувством прежней уверенности в себе, ибо (какую бы сочувственную улыбку это ни вызывало у нас) весь ход визита к директрисе представлялся ему в воспоминаниях ярчайшим доказательством его мужской притягательности.

И именно в это воскресенье он заметил, что Алиса стала какой-то другой: как только они встретились, она взяла его под руку и в костеле так и стояла с ним; обычно она старалась вести себя скромно и неприметно, но на этот раз оглядывалась по сторонам и с улыбкой поклонилась по меньшей мере десятку знакомых.

Эдуарду все это показалось странным и непонятным.

Когда двумя днями позже они вместе прогуливались по стемневшим улицам, Эдуард с изумлением отметил, что поцелуи Алисы, прежде столь непри-

ятно деловитые, увлажнились, потеплели и стали более пылкими. Остановившись ненадолго с ней под фонарем, он обнаружил, что на него смотрят два влюбленных глаза.

— Знай, что я люблю тебя, — ни с того ни с сего сказала Алица и тут же прикрыла ладонью ему рот: — Нет, нет, не говори ничего, я не хочу ничего слышать.

Они снова немного прошли и снова остановились, и Алица сказала: — Теперь я уже все понимаю. Теперь понимаю, почему ты упрекал меня, что я в своей вере слишком пассивна.

Но Эдуард, по-прежнему ничего не понимая, молчал; они прошли еще немного, и тут Алица сказала: — А ты мне ничего не сказал. Почему ты мне ничего не сказал?

— А что я должен был тебе сказать? — спросил Эдуард.

— Да, в этом ты весь, — сказала она с тихим восторгом. — Другие бы похвалялись, а ты молчишь. Но именно поэтому я и люблю тебя.

Эдуард, пытаясь понять, о чем идет речь, решил все-таки уточнить: — Это ты о чем?

— О том, что с тобой случилось.

— От кого ты это знаешь?

— Оставь, пожалуйста. Это все знают. Тебя вызвали, угрожали тебе, а ты смеялся им прямо в лицо и ни от чего не отрекся. Все в восторге от тебя.

— Но я никому об этом не говорил.

— Какая наивность! А молва на что? Это же не пустячное дело. Смельчаков сейчас днем с огнем не сыщешь.

Эдуард знал, что в маленьком городе любое событие сразу превращается в легенду, однако же не думал, что и его ничтожная история, какой он вовсе не придавал значения, содержит в себе такую мифотворную силу; он и понятия не имел, как в пору он пришелся своим землякам, которые, как известно, восхи-

щуются не драматическими героями (борющимися и побеждающими), а именно мучениками, ибо те утверждают их в правильности лояльного бездействия, внушая им, что жизнь предлагает лишь одну альтернативу: быть уничтоженным или быть покоренным. Никто не сомневался, что Эдуард будет уничтожен, и все с восторгом и удовлетворением распространялись об этом, покуда наконец Эдуард при помощи Алицы не встретился с прекрасным образом собственного распятия. Он хладнокровно принял это и сказал:

— Но мне ведь не пришлось ни от чего отречься, все было в порядке вещей. Так поступил бы любой.

— Любой? — вырвалось у Алицы. — Погляди вокруг, как все ведут себя! Какие заячьи души! От собственной матери и то отреклись бы.

Эдуард молчал, молчала и Алица. Они шли, держась за руки. Чуть погодя Алица шепотом сказала: — Я сделала бы для тебя все.

Таких слов Эдуарду еще никто не говорил; такая фраза для него была неожиданным даром. Эдуард, конечно, знал, что он не заслужил такого дара, но подумал: раз судьба отказывает ему в заслуженных дарах, то он имеет право присвоить и незаслуженные; и потому сказал:

— Мне уже никто ни в чем не поможет.

— В каком смысле?

— Выгонят меня из школы, и те, кто сегодня считает меня героем, и пальцем не шевельнут ради меня. Лишь в одном я до конца уверен. Что останусь в полном одиночестве.

— Не останешься, — возразила, покачав головой, Алица.

— Останусь, — повторил Эдуард.

— Нет, не останешься, — чуть ли не крикнула Алица.

— Все от меня отреклись.

— Я никогда от тебя не отрекусь.
— Отречешься, — печально сказал Эдуард.
— Не отрекусь, — сказала Алица.
— Нет, Алица, ты не любишь меня. Ты никогда не любила меня.

— Неправда, — прошептала Алица, и Эдуард с удовлетворением заметил, что у нее мокрые от слез глаза.

— Не любишь, Алица. Этого не скроешь. Ты всегда была совершенно холодна ко мне. Так не ведет себя женщина, которая любит. Я очень хорошо это знаю. А сейчас ты мне просто сочувствуешь, зная, что меня хотят уничтожить. Но любить ты не любишь, и я не хочу, чтобы ты убеждала себя в этом.

Они продолжали идти, держась за руки. Алица тихо плакала, а потом вдруг остановилась и сквозь рыдания проговорила: — Неправда, нет, неправда, ты не должен так думать.

— Правда, — сказал Эдуард, а поскольку Алица не переставала плакать, он предложил ей в субботу поехать в деревню. Дача брата стоит в прекрасной долине у реки, и там они смогут уединиться.

Лицо у Алицы было мокрым от слез, она молча кивнула.

8

Это было в среду, а в четверг Эдуард снова был приглашен в дом к директорисе; он шел туда весело и уверенно, ибо ничуть не сомневался, что его личные чары окончательно развеют всю эту заваруху с костелом, превратив ее в легкое облачко дыма, в сущее ничто. Но так уж случается в жизни: человек думает, что играет свою роль в определенной пьесе, и не предполагает вовсе, что тем временем на сцене приметно сменились декорации, и он, ничего не по-

дозревая, оказывается участником совершенно другого спектакля.

Он снова сидел в кресле напротив директрисы, между ними был столик, а на нем — бутылка коньяка с двумя рюмками по бокам. Эта бутылка коньяка и была той самой новой декорацией, по которой пронытательный, здравомыслящий мужчина тотчас бы угадал, что заваруха с костелом перестала быть настоящей проблемой.

Однако наивный Эдуард был до такой степени опьянен самим собой, что поначалу ни о чем таком не догадывался. Он дал себя вовлечь в веселый вводный разговор (неопределенно-обобщенного содержания), выпил предложенную рюмку и впал в неприятворную тоску. Спустя полчаса-час директриса перешла к более личным темам; заговорив о себе, она попыталась создать в глазах Эдуарда образ той женщины, какой хотела казаться: рассудительной женщиной средних лет, не слишком счастливой и все-таки достойно смирившейся со своей участью, женщиной, ни о чем не жалеющей и даже довольной, что не замужем, ибо только так она может в полной мере насладиться спелым вкусом своей самостоятельности и радостями жизни, которые дает ей прекрасная квартира, где ей хорошо и где даже Эдуард чувствует себя сейчас, видимо, неплохо.

— Нет, что вы, мне замечательно, — сказал Эдуард, но сказал это сдавленным голосом, поскольку именно в эту минуту ему перестало быть замечательно. Бутылка коньяка (которой он опрометчиво поинтересовался в предыдущую встречу и которая сейчас со столь устрашающей готовностью поспешно пожаловала на стол), четыре стены гарсоньерки (делающих пространство все более тесным, все более замкнутым), монолог директрисы (сосредоточенный на темах все более личных), ее взгляд (небезопасно пристальный) — все это привело к тому, что он наконец стал

осознавать *замену спектакля*; он понял, что попал в ситуацию, развитие которой неотвратимо предопределено; до него дошло, что его существованию в школе угрожает не антипатия к нему директрисы, а совсем наоборот: его физическая антипатия к худой женщине с черным пушком под носом, понуждающей его пить. У него от страха перехватило горло.

Он послушался директрису и выпил, но страх его был так велик, что алкоголь не оказал на него никакого действия. Зато директриса после двух-трех рюмок воспарила над присущим ей здравомыслием, и ее слова стали насыщаться почти угрожающей восторженностью. «В одном вам завидую, — говорила она, — что вы так молоды. Вам еще невдомек, что такое разочарование, что такое крушение иллюзий. Мир перед вами еще полон надежд и красоты».

Нагнувшись через столик к Эдуарду, она в печальном молчании (с оцепенело судорожной улыбкой) устремила на него устрашающе большие глаза, в то время как он говорил себе: если ему не удастся хоть слегка опьянеть, этот вечер окончится для него величайшим позором; налив в рюмку коньяка, он залпом выпил.

Директриса снова заговорила: — Но я хочу видеть мир таким же! Таким же, каким видите его вы! — Затем поднялась с кресла и, выставив грудь, сказала: — Я вам действительно симпатична? Это правда? — И, обойдя столик, она схватила Эдуарда за руку. — Это правда?

— Да! — сказал Эдуард.

— Пойдемте потанцуем, — сказала она и, отпустив руку Эдуарда, подбежала к радио и так долго стала вертеть рычажком, пока не нашла какую-то танцевальную мелодию. Потом с улыбкой подошла к Эдуарду.

Эдуард встал, обхватил директрису и в ритме музыки стал водить ее по комнате. Директриса то опу-

скала голову ему на плечо, то, подняв ее, нежно заглядывала ему в глаза, а то вполголоса вторила звучащей мелодии.

Эдуарду было до того не по себе, что он не раз останавливался посреди танца, чтобы опрокинуть рюмочку. Сейчас он только и мечтал о том, чтобы поскорее кончилась тягостность этого безмерно затянувшегося шагания, но, с другой стороны, он и ничего больше так не боялся: тягостность того, что последовало бы за танцем, представлялась ему куда более невыносимой. И потому, продолжая водить эту напевающую даму по тесной комнате, он внимательно (и тревожно) следил за желанным действием алкоголя. Когда ему наконец показалось, что его рассудок несколько затуманился, он с силой привлек директрису к себе правой рукой, а левую положил ей на грудь.

Да, он в точности проделал то, что в течение всего вечера вселяло в него ужас; чего бы он только не отдал за то, чтобы ему не пришлось это делать, но если он все-таки сделал это, то лишь потому, поверьте, что *должен был* это сделать: ситуация, в которую он попал, с самого начала вечера была настолько предопределена, что можно было лишь замедлить ее развитие, но никак не пресечь, и если Эдуард положил ладонь на грудь директрисы, значит, он лишь подчинился приказу неотвратимой необходимости.

Однако результат его поступка превзошел все возможные ожидания. Будто по волшебному повелению, директриса начала извиваться в его руках, а потом приникла своей верхней пушистой губой к его рту. Затем увлекла его на тахту и, дико извиваясь и шумно вздыхая, укусила его в губу и тут же в кончик языка, причинив ему сильную боль. Потом вывернулась из его рук и, обронив: «Подожди!» — побежала в ванную.

Эдуард облизал палец и обнаружил, что язык немного кровоточит. Укус вызывал такую боль, что с трудом обретенное опьянение рассеялось и горло вновь перехватило страхом при мысли о том, что его ждет. Из ванной доносились стрекот и всплески воды. Он взял бутылку коньяка, приложил ко рту и сделал несколько глотков.

Но вот уже на пороге комнаты в прозрачной нейлоновой ночной сорочке (богато декорированной на груди кружевом) появилась директриса и стала медленно приближаться к Эдуарду. Она обняла его, затем отступила на шаг и укоризненно сказала: — Почему ты одет?

Сняв пиджак и глядя на директрису (она не сводила с него больших глаз), Эдуард думал лишь о том, что его тело, вероятнее всего, станет саботировать усилия его воли. И, стремясь каким-то образом возбудить свое тело, он неуверенно сказал: — Разденьтесь до конца.

Быстрым, восторженно послушным движением она сбросила с себя сорочку и обнажила тонкую белую фигуру, посередине которой в грустной сиротливости чернела густая поросль. Директриса медленно приближалась к нему, меж тем как он в ужасе убеждался в том, что знал уже заранее: его тело было начисто сковано страхом.

Я знаю, господа, что с годами вы свыклись с тем, что ваше тело порой проявляет строптивость, и это вас уже не расстраивает. Но Эдуард был тогда молод! Саботаж тела всякий раз повергал его в невероятную панику, и он переживал его как неизбежный позор, независимо от того, было ли его свидетелем прекрасное лицо или такое уродливое и комичное, как лицо директрисы. А она была уже совсем рядом, и он, испуганный и растерянный, крикнул вдруг, не зная почему (это было скорее по наитию, чем по какому-то хитрому расчету): «Нет, нет, ради Бога,

нет! Нет, это грех, это был бы грех!» — крикнул и отскочил в сторону.

А директриса, все приближаясь к нему, глухо бормотала: — Какой еще грех! Вовсе это не грех!

Эдуард отступил за круглый столик, за которым давеча они сидели: — Нет, этого мне не дозволено, не дозволено!

Директриса отодвинула кресло, стоявшее у нее на пути, и, пожирая Эдуарда большими черными глазами, продолжала его преследовать: — Вовсе это не грех! Вовсе это не грех!

Эдуард обошел столик, за ним была уже только тахта; директриса подошла к нему почти вплотную. Сейчас пути к отступлению уже не было, и, видимо, само отчаяние в эту безысходную минуту вдруг надумило его приказать ей:

— На колени!

Она в недоумении уставилась на него, но когда он повторил твердым (или отчаянным) голосом: «На колени!» — самозабвенно упала перед ним на колени и обняла его ноги.

— Убери руки! — окрикнул он ее. — Сложи их!

Она снова с недоумением посмотрела на него.

— Сложи их! Ты слышишь?

Она сложила руки.

— Молись! — приказал он.

Сложив руки, она преданно смотрела на него.

— Молись, и да простит нам Бог, — прошепел он.

Молитвенно сложив руки и возведя к нему большие глаза, она стояла на коленях, и Эдуард получил не только выгодную отсрочку, но, глядя на нее с высоты, стал избавляться от тягостного ощущения себя как чистой добычи и постепенно обретать уверенность. Он отступил на шаг, чтобы оглядеть ее всю, целиком, и снова приказал ей: — Молись!

Но она продолжала молчать. И тогда он крикнул: — Вслух!

И вправду: коленопреклоненная худая голая женщина стала молиться: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое! Да придет Царствие Твое».

Произнося слова молитвы, она возводила к нему глаза, словно он сам был Богом. Он наблюдал за ней с растущим удовольствием: перед ним была коленопреклоненная директриса, униженная своим подчиненным; перед ним была нагая революционерка, униженная молитвой; перед ним была молящаяся дама, униженная наготой.

Этот утроенный образ бесчестия пьянил его; и вдруг случилось нечто неожиданное: его тело сломило свое пассивное сопротивление; Эдуард напрягся!

В ту минуту, когда директриса произносила: «И не введи нас в искушение», он сбросил с себя одежду. А когда она сказала: «Аминь!» — быстро поднял ее с полу и поволок на тахту.

9

Это было в четверг, а в субботу Эдуард с Алицей поехал к своему брату в деревню. Брат встретил их весьма любезно и вручил им ключ от расположенной неподалеку дачи.

Влюбленные ушли гулять, все утро бродили по лесам и лугам. Гуляя, они целовались, и Эдуард убогаторенными ладонями чувствовал, что воображаемая линия, проведенная на уровне пупка и разделяющая сферу невинности и сферу прелюбодеяния, уже утратила силу. В первую минуту он хотел было высказаться по поводу этого долгожданного события, но по здравом рассуждении решил помалкивать.

А рассудил он, пожалуй, достаточно правильно: внезапный Алицын перелом случился независимо от его многодневных уговоров, независимо от его доказательств, независимо от каких бы то ни было ло-

гических соображений, напротив, этот перелом основывался исключительно на слухе о его мученичестве, то есть на чистом *заблуждении*, и обусловлен был этим заблуждением вне всякой *логики*; давайте поразмыслим: почему мученическая преданность Эдуарда вере должна была бы привести к тому, что сама Алица предаст теперь Закон Божий? Если Эдуард не предал Бога перед школьным синедрионом, то почему теперь она должна предать Бога перед Эдуардом?

В такой ситуации любое высказанное вслух суждение могло невольно открыть Алице нелогичность ее поведения. И потому Эдуард решил благоразумно молчать, что, впрочем, вовсе не бросалось в глаза, ибо Алица сама говорила без умолку, была весела, и ничто не свидетельствовало о том, что перелом, совершившийся в ее душе, был драматичным или болезненным.

Когда стемнело, они отправились на дачу, зажгли свет, постлали постель, поцеловались, и тут Алица попросила Эдуарда потушить лампу. Однако в окно пробивался звездный свет, так что Эдуарду по ее настоянию пришлось закрыть ставни. В полной темноте Алица разделась и отдалась ему.

Долгими неделями Эдуард мечтал об этих минутах, но сейчас, когда они наступили, он, к своему удивлению, не чувствовал той их значительности, какую предполагала длительность их ожидания; они казались ему такими простыми и самоочевидными, что он почти не мог сосредоточиться на любовных радостях и тщетно пытался отогнать мысли, которые лезли ему в голову: на память приходили долгие потерянные недели, когда Алица мучила его своей холодностью, на память приходили школьные неприятности, возникшие по ее вине, и потому вместо благодарности за подаренную ею любовь он стал ощущать в себе какой-то мстительный гнев. Его раз-

дражало, с какой легкостью и простотой она предает теперь своего Бога Прелюбодейства, которому еще недавно так истово поклонялась, раздражала и ее вечная уравновешенность, не прошибаемая ничем: ни мечтой, ни каким-либо событием, ни каким-либо переломом; раздражала, как она проживает жизнь: без всякого внутреннего разлада, самоуверенно и легко. А когда это раздражение достигло особой силы, он попытался любить ее яростно и злобно, дабы вырвать из нее хоть какой-то звук, стон, слово, всхлип, но все было тщетно. Девушка оставалась тихой, и, несмотря на все его старания, их любовная близость кончилась столь же тихо и безбурно.

Она приникла к его груди и быстро уснула, а он, продолжая бодрствовать, думал о том, что вовсе не испытывает никакой радости. Он попытался представить Алицу (не внешний ее облик, а, по возможности, все ее существо целиком), и вдруг ему показалось, что ее образ *расплывается*.

Давайте задумаемся над этим словом: Алица, какой она до сих пор представлялась ему, при всей ее наивности была существом крепким и ясным: чудесная простота наружности, казалось, соответствует ее незамысловатой вере, а немудреная судьба, казалось, мотивирует ее поведение. До сих пор ее образ виделся ему цельным и компактным; он мог посмеиваться над ней, мог проклинать, мог подольщаться к ней, но он должен был (непроизвольно) ее уважать.

Теперь, однако, непреднамеренная ловушка ложной молвы разрушила компактность ее существа, и Эдуарду показалось, что ее убеждения были всего лишь *прилепленными* к ее судьбе, а судьба прилепленной к ее телу, он вдруг увидел ее как случайное соединение тела, мыслей и потока жизни, соединением неорганичным, произвольным и нестойким. Мысленно рисуя себе Алицу (она глубоко дышала на его плече), он видел ее тело и мысли порознь, тело нравилось

ему, мысли же казались смешными, а то и другое вместе не создавало вовсе никакого существа; она представлялась ему расплывчатой линией на промокательной бумаге: без контуров, без формы.

Тело девушки ему и вправду нравилось. Когда она утром встала, он попросил ее остаться нагой, и она, еще вчера стыдившаяся скупого света звезд и требовавшая закрыть ставни, сейчас совсем забыла о своем смущении. Эдуард внимательно разглядывал Алицу (весело подпрыгивавшую в поисках коробки чая и печенья к завтраку), и она, заметив его задумчивость, спросила, что с ним. Эдуард ответил, что после завтрака ему придется пойти к брату.

Брат поинтересовался, как у него идут дела в школе. И, услышав ответ Эдуарда, что в целом неплохо, сказал: — Чехачкова свинья, но я давно простил ее. Простил, ибо она не знала, что творит. Хотела навредить мне, а между тем помогла прекрасно устроиться в жизни. Как земледелец я больше зарабатываю, а связь с природой спасает меня от хандры, что гложет горожан.

— И мне эта женщина принесла в известной мере счастье, — сказал Эдуард и поведал брату всю свою историю: как он влюбился в Алицу, как прикинулся верующим, как его судили, как Чехачкова взялась его перевоспитывать и как Алица, узнав про его мученичество, наконец отдалась ему. Однако про то, как он заставил директрису молиться, досказать не успел, так как заметил в глазах брата неодобрение. Эдуард умолк, а брат сказал:

— Возможно, у меня есть всякие недостатки, но одного я лишен начисто. Я никогда не кривил душой и каждому в лицо говорил то, что думаю.

Укор любимого брата уязвил Эдуарда; он попытался оправдаться, возник спор.

— Я знаю, — в конце концов сказал Эдуард, — ты человек прямой и дорожишь этим своим каче-

ством. Но задай себе один вопрос: *зачем*, собственно, говорить правду? Что обязывает нас говорить правду? И почему вообще правдивость мы считаем добродетелью? Представь себе, что встретишь безумца, утверждающего, что он рыба и мы все рыбы. Ты что, станешь спорить с ним? Станешь перед ним раздеваться и доказывать, что у тебя нет жабр? Станешь говорить ему в лицо, что ты о нем думаешь? Ну, скажи!

Брат молчал, и Эдуард закончил свою мысль: — Если ты скажешь ему чистую правду, скажешь то, что ты о нем действительно думаешь, ты заведешь с безумцем серьезный разговор и сам станешь безумцем. Та же картина и с окружающим миром. Если бы я стал упорно говорить ему правду в лицо, это значило бы, что я отношусь к нему серьезно. А относиться серьезно к чему-то столь несерьезному означает самому стать несерьезным. Я, братец, *должен* лгать, если не хочу серьезно относиться к безумцам и самому стать одним из них.

10

Воскресным днем влюбленные уезжали обратно в город; в купе они оказались одни (девушка уже снова весело щебетала), и Эдуард думал о том, как еще недавно он надеялся обрести в совсем не обязательной для него Алице то серьезное, что никогда не смогут дать ему его обязанности, и он с горечью осознавал (поезд идилически стучал на стыках колес), что любовная история, которую он пережил с Алицей, ничтожна, сплетена из случайностей и заблуждений, лишена всякой серьезности и значения; он слышал слова Алицы, видел ее жесты (она сжимала его руку), а ему казалось, что все это знаки без всякого смысла, банкноты без покрытия, гири из

бумаги, что он не может положиться на них больше, чем Бог на молитву нагой директрисы; и ему вдруг показалось, что все люди, с которыми он встречался по работе, были всего лишь линиями, расплывшимися на промокашке, существами с переменчивыми взглядами, существами нестойкого духа; но что еще хуже, куда хуже (пришло ему в голову следом), он сам был лишь тенью всех этих тенеобразных людей, ведь он исчерпал весь свой разум на то, чтобы приспособиться к ним, стать им подобным, и пусть он уподоблялся им с внутренним смехом — не важно, пусть он тайно высмеивал их (стараясь хотя бы так оправдать свое приспособленчество, — это, по сути, ничего не меняло, ибо злорадное подражание остается лишь подражанием, и высмеивающая тень остается лишь тенью, подчиненной и зависимой, жалкой и пустой.

Это было постыдно, ужасно постыдно. Поезд идиллически стучал на стыках колес (девушка щебетала), и Эдуард спросил:

— Алица, ты счастлива?

— Да, — сказала Алица.

— А я в отчаянии, — сказал Эдуард.

— Не сходи с ума, — сказала Алица.

— Нам не надо было это делать. Это не должно было случиться.

— Что тебе взбрело в голову? Ты же сам хотел!

— Да, хотел, — сказал Эдуард, — но это была моя самая большая ошибка, которую Бог мне никогда не простит. Это был грех, Алица.

— Господи, что случилось? — спокойно спросила девушка. — Ты ведь сам все время твердил, что Бог прежде всего хочет, чтобы люди любили друг друга!

Когда Эдуард услышал, как Алица спокойно присвоила его теологические софизмы, вооружившись которыми он так безуспешно еще недавно пускался в бой, его обуяла ярость: — Я это говорил, чтобы ис-

пытать тебя! Теперь я знаю, как ты предана Богу! Тот, кто способен предать Бога, человека предаст во сто крат легче!

Алиса все еще пыталась найти подходящие ответы, но лучше бы она их не находила — ими она лишь разжигала его мстительный гнев. Эдуард начал ей что-то втолковывать и говорил так долго (употребив под конец слова *мерзость* и *физическое отвращение*), покуда не извлек из этого спокойного и нежного существа всхлипы, слезы и вздохи.

— Прощай, — сказал он ей, плачущей, на вокзале и пошел прочь. Только дома спустя час-другой, когда с него спал этот дикий гнев, он в полную меру осознал свое поведение; представив себе ее красивое тело, которое еще утром прыгало перед ним на длинных ногах, а теперь уходит, изгнанное им же самим, по его собственной воле, он обругал себя идиотом и охотно надавал бы себе оплеух.

Но то, что случилось, случилось, и ничего нельзя было изменить.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что, хоть образ уходящего прекрасного тела и причинял Эдуарду немалые огорчения, он справился с этой утратой сравнительно быстро. Если раньше его мучил и приводил в отчаяние недостаток телесной любви, то вызвано это было разве что временным положением недавнего переселенца. Сейчас недостатка в ней он уже не испытывал. Раз в неделю навещал директрису (привычка избавила его тело от первоначального страха) и намеревался не покидать ее, покуда его положение в школе окончательно не прояснится. Кроме того, ему удавалось с растущим успехом обольщать еще и других женщин и девушек. В конечном итоге он постепенно начинал все больше ценить минуты, когда оставался один; он полюбил одинокие прогулки, сочетая их (в последний раз прошу вас обратить на это внимание) с посещением костела.

Нет, не беспокойтесь, Эдуард не уверовал в Бога. Мое повествование не собирается увенчать себя эффектом столь нарочитого парадокса. Но Эдуард, хотя и почти убежден, что Бога нет, все-таки самозабвенно и ностальгически рисует себе Его образ.

Бог — это сама сущность, тогда как ни в своих любовях (а со времени истории с директрисой и Алицей прошло немало лет), ни в своем учительстве, ни в своих взглядах Эдуард не нашел ничего существенного. Он слишком умен, чтобы допустить, что видит сущность в несущественном, но и слишком слаб, чтобы тайно не мечтать об этой сущности.

Ах, дамы и господа, печально живется на свете человеку, когда он ничего и никого не принимает всерьез!

И потому Эдуард мечтает о Боге, ибо единственно Бог избавлен от расплывчатой обязанности *явить* себя и призван всего лишь *быть*; ибо единственно Он творит (Он один, единый и не сущий) существенную противоположность этого несущественного (однако тем более сущего) мира.

Итак, Эдуард подчас сидит в храме и в задумчивости устремляет взор к куполу. Давайте простимся с ним именно в такую минуту: послеобеденное время, храм тих и пуст. Эдуард сидит на деревянной скамье и мучится сожалением, что Бога нет. И именно в эту минуту его сожаление становится так велико, что из его глубин вдруг выплывает настоящий, *живой* Божий лик. Смотрите же! Да, да! Эдуард улыбается! Он улыбается, и его улыбка светится счастьем.

С этой улыбкой и сохраните его, пожалуйста, в памяти!

Милан Кундера

СМЕШНЫЕ ЛЮБОВИ

Редактор Галина Соловьева
Художественный редактор Вадим Пожидаев
Технический редактор Татьяна Раткевич
Корректоры Татьяна Бородулина, Елена Орлова
Верстка Антона Вальского

Директор издательства Максим Крютченко

ЛП № 000116 от 25.03.99.

Подписано в печать 16.04.2001.

Формат издания 76×100¹/₃₂. Печать высокая.
Гарнитура «Петербург». Тираж 10 000 экз.
Усл. печ. л. 15,1. Изд. № 498. Заказ № 1443.

Издательство «Азбука».
196105, Санкт-Петербург, а/я 192.
www.azbooka.ru

Отпечатано с диапозитивов в ФГУП «Печатный двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

НОВЫЕ КНИГИ СЕРИИ:

- В. Розанов.** Апокалипсис нашего времени
Лоуренс Аравийский. Семь столпов мудрости
А. Аверченко. Аполлон
В. Брюсов. Огненный ангел
Г. Гессе. Нарцисс и Гольмунд
А. Камю. Миф о Сизифе
А. Камю. Чума
С. Довлатов. Чемодан
С. Довлатов. Наши
С. Довлатов. Американка
У. Голдинг. Повелитель мух
Ф. Кафка. Замок
У. Голдинг. Бог-скорпион
И. Сайкаку. Новеллы
Н. Готорн. Алая буква
Э. Фромм. Искусство любить
Гиппократ. Этика и общая медицина
В. Ходасевич. Некрополь
-

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗБУКА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЗБУКА» ОБРАЩАТЬСЯ**

в Санкт-Петербурге:

издательство "Азбука"

тел. (812) 327-04-55, факс 327-01-60

в Москве:

представительство издательства "Азбука"

тел. (095) 276-63-05

ООО «ИКТФ Книжный клуб 36,6»

тел. (095) 265-81-93

книготорговое объединение «Оникс»

тел. (095) 150-52-11, (095) 110-02-50

в Челябинске:

ЗАО "Корвет", тел. (3512) 36-75-10

в Новосибирске:

ООО "Топ-книга", тел. (3832) 36-10-28

в Ростове-на-Дону:

ООО "Фазтон-Пресс", тел. (8632) 65-61-64

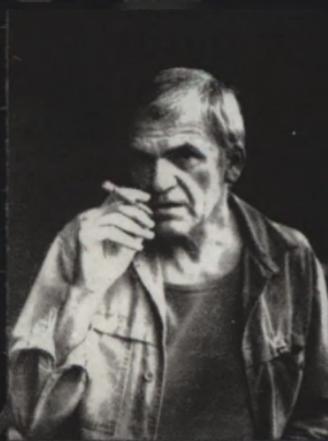
в Иркутске:

издательство "Востсибкнига", тел. (3952) 34-42-95

в Волгограде:

ООО "Эзоп", тел. (8442) 37-25-19

Milan Kundera



Милан Кундера - один из наиболее интересных и читаемых писателей конца XX века. Родился в Чехословакии. Там написал его романы «Шутка» (1967), «Жизнь не здесь» (1969), «Вальс на прощание» (1970) и сборник рассказов «Смешные любви» (1968). Вскоре после трагедии 1968 года он переезжает во Францию, где пишет романы «Книга смеха и забвения» (1979), «Невыносимая легкость бытия» (1984) и «Бессмертные» (1990). Он создает несколько книг на французском языке: «Неспешность» (1995), «Подлинность» (1997), «Безразличие» (2000) и два эссе «Искусство романа» (1986) и «Нарушенные завещания» (1993).

Книги Милана Кундеры переведены на все языки мира.

«Смешные любви» можно определить следующим образом: это шесть повелл, обрамляющих рассказ «Симпозиум», - различные варианты одной и той же разрабатываемой темы, одного и того же размышления над сущностью «смешной любви».

Франсуа Рикар

ISBN 5-267-00498-7



9 785267 004985